



Никита  
Марфин

По  
разные  
стороны  
экватора

РОМАН

Никита Фроловский

**По разные стороны экватора**

«ЛитРес: Самиздат»

2017

## **Фроловский Н. Э.**

По разные стороны экватора / Н. Э. Фроловский — «ЛитРес: Самиздат», 2017

Роман для тех, кто любит и умеет читать. Для тех кто ценит классически-добросовестный авторский подход к современным и вечным темам.

Внимательного и доброжелательного читателя ждут в книге психологические приключения и в некотором роде приключения самого романа и автора при его написании (не пугайтесь, Читатель! не очень много), разнообразные истории о любви и дружбе, и о столкновении поколений, и об осуществлении удачных и неудачных, как личных, так и профессиональных проектов. Все персонажи, тем или иным способом, связаны с журналистикой, искусством и телевидением.

© Фроловский Н. Э., 2017

© ЛитРес: Самиздат, 2017



Мужчин в ее жизни, на день сегодняшне-сложившихся обстоятельств, присутствовало двое. Ей, конечно, льстило одновременно-двойное такое доказательство женской не заброшенно-востребованности, но, почему-то, при нелегкого нрава взглядах поведения, не просматривалось у нее ясного ощущения простой достаточности именно этой активности ее вполне многосторонней личности и, таким образом, появившись откуда-нибудь на обозримых пространствах кандидат в третьего, она бы его не отвергла.

Третий, за клочковатой дымчатостью акварельной размытости сладкого тумана, рисовался в предполагаемой зыбкости, как образ, вовсе и не совершенный, а только ярко включающий в себя острые и заманчивые особенности, безнадежно отсутствующие в ее двоих. Совершенный ей был и не нужен, как, лишенное земных черт, пустое мечтанье, а уж в реальности, она бы и вовсе избегла, если бы в таковую вообще, а не по-детски, поверила, мужского совершенства, дабы не возвести ее в обременительный ранг единственности, обрекающий на страдания привязанности, некогда испытанные и забытые ею, под честное свое твердое слово недопущения повторений.

Отсутствующие острые особенности оттого же, несмотря на заманчивость, пугали ее, находившуюся уже во второй половине молодости и, как было указано, имевшую отрицательный опыт столкновения страстей, но, благодаря ему же, она оказалась уверена в своей теперь способности изначально отсеять губительные превратности, осмотрительно выстроив отношения в ограничениях диктуемых ею рамок, а уж в превосходстве женского ума и силы над мужскими она никогда не сомневалась, и только любовь или то, что она за нее принимала, лишала ее некогда, по объяснимой слабости, здравого смысла и вгоняла в унижительную и болезненную зависимость от чувств. Она знала, что счастье предполагает, а то даже и приветствует зависимость, но себе хотела не женского, а, по современности, профессионального счастья, полагая себя способной взвешенно выделить своим женским наклонностям, необходимые, но отнюдь не главенствующие, внимание и обеспечение. Такой позиции она придерживалась давно, целенаправленно и успешно. Выборочно отсеяла себе двух противоположно-разных и выстроила с обоими параллельно-непересекающиеся отношения в, только ею определяемых, мерах времени и температурного накала.

Мысли о третьем не доходили и до маломальской ясности, но кровоточила в сознании язвочка сомнения, старательно зарасчиваемая самыми толстыми клочками кожи закаленной уже души, однако, тайно не заживающая и тихо напоминающая пульсирующими толчками о настоящей жизни, банально-необъяснимо проносящейся мимо в напрочь не угадываемом направлении, сверкая, по выражению классиков, лаковыми крыльями.

Да, не складывался, конечно, третий в отчетливый рисунок, зато она оставалась уверена в том, что будет он именно третий и, каков бы он не оказался, она никоим образом не собиралась расставаться с такими своими, уже ее, двумя.

Оба получались не полностью еще покорены и временами взбрыкивали и взбунтовывались, но эти бессмысленные восстания только благосклонно приветствовались ею, не вслух, конечно. Она оказывалась в своей стихии и вела широко-маневренные военные действия по подавлению простодушных, искренне неподготовленных мятежей с удовольствием, изяществом и изобретательностью и в результате всегда усугубляла степень закабаления обреченно-подданных. Какая там любовь могла сравниться с острой радостью нравиться себе в минуты триумфа, когда, неисчислимы в радужном разнообразии, покалывают везде иголки непомерного превосходства. Никакой жестокости в ней не было, как не существовало и никакого сострадания. Она представлялась себе в такие, пропитанные сладостью, моменты, кем-то вроде золотой Фемиды из рисовано-скульптурных заставок к юридическим телепередачам, с утонченной твердостью держащую идеально выточенной рукой, эталонные весы, где на обеих открытых чашах нет места сентиментальным слабостям и снисходительным сомнениям.

Вообще она не очень хорошо относилась к мужчинам, и свое нежелание и неумение без них обходиться смогла естественно-гармонично соединить, в приемлемой нынешней пропорции, через болезненные, о чем выше нами частично говорилось, опыты, нервные эксперименты, долгие мысли и общее свое повзросление, укрепившее ее в правоте взглядов на противоположный пол.

Образ и позиция женщины, не собирающейся никогда и ни за кого замуж и не намеревающейся собственно никогда же никого в обыкновенно-классическом смысле любить, начал фрагментами закладываться в ней с детства, вместе с первыми сокрушительными впечатлениями познания особенностей мужского характера на примерах отца и старшего брата, ни капли не стеснявшихся отвратительного эгоизма и скверных манер. Разительно поражал, в сравнении с женщинами дома, этот, объединенный в общий, рисунок мужского пола, внешне неряшливый и нечистый и внутренне шкурно-лентяйский, примитивно-наплевательско-бездушный к семье и ее благополучию, бессовестно равнодушный к домашним делам и обязанностям, бесчувственный к, выполняющим, помимо собственных неисчислимых забот, тяжелые работы женщинам.

Она видела, конечно, что, вроде бы, совсем не такие есть на свете отцы и братья, но все равно не верила в их полную обратную отличность от своих близких родственников, и все сильнее укоренялась в представлениях о заданной сильному полу природой, вместе с уже описанными бытовыми изъянами, еще и черствости, нечуткости и жестокости к полу прекрасному и в романтических отношениях.

Совсем подтвердились эти горестные наблюдения за всеильным полом после первого же чувства, встреченного ею, несмотря на предубеждения, с открытым сердцем и чистыми помыслами. Мальчик не оценил идеалистических девичьих намерений, не осознал и не оправдал последних надежд на реабилитацию в ее глазах своих половых собратьев, да и сам начал быстро надоедать и скоро виделся не таким уж красивым, как поначалу казался.

Она только по инерции не расставалась одно время с ним, может, не расставалась бы и дольше, но он повел себя так глупо, истерично и слабо, требуя повышенного внимания к самым незначительным душевным царапинам и выдавая мелкие сердечные контузии за смертельные ранения, а ее за них ответственной, что пришлось беззаветно бежать от тиранских претензий надоевшего красавчика.

В последующих историях она, ученая первым безоглядством, всегда теперь осторожничала с авансовой идеализацией мужчины и расставалась с ним, если и не всякий раз легко, то, договорив, во внутренних немых монологах обращаясь к покинутому (себя покинутой она ни разу не посчитала), доведенные до тихих выражений мотивы невозможности примирения, сразу успокаивалась и осматривалась в поисках следующего, не надеясь на качественные улучшения мужской природы в образе очередного претендента на ее внимание.

Присматриваясь к кандидатам, она стремилась не затягивать безвременье выборов, смутно страшаясь незавидной безстатусности одиночки несопоставимо больше невеселого подтверждения известного дутого открытия принцеотсутствия на белом свете.

Принцеприсутствие, впрочем, толковалось здесь вполне условно, как нечто бы постоянно устроившее, а принцы и не надобны, да при желании в них можно оказывалось, как в сору рыться, просто раньше она иллюзорно обманывалась мечтой встречи принца, волшебной чарующегося ею, до степени превращения в безраздельно подданного, не теряющего, притом, всех своих еговысоческих качеств, как ласкающе некогда многообещалось в поэтических сказках.

Поэзию, прочие сказки и всякую остальную староклассическую художественную литературу она системно читала только в школе, с которых пор прошло уже немало, качественно вышибающих из головы тексты, лет, а то бы могла припомнить, что еще знаменитый критик женщин Печорин советовал им не обольщаться поэтическим словом, указывая, как те же поэты за деньги именовали Нерона полубогом.

Пользуясь здесь своими самыми широкими полномочиями, автор желает сейчас же заступиться за поэтов и поэзию, чей один из лучших представителей, спустя лет семьдесят после слов лермонтовского Печорина, писал с понимающим сочувствием об императоре Рима совсем не за деньги, во всяком случае, не за нероновские:

...Он мучитель-мученик! Он поэт-убийца!  
Он жесток неслыханно, нежен и тосклив...

...Мучают бездарные люди, опозорив  
Облик императора общим сходством с ним...

...Разве удивительно, что сегодня в цирке,  
Подданных лорнируя и кляня свой трон,  
Вскочит с места в бешенстве, выместив в придирке  
К первому патрицию злость свою, Нерон?..

...Разве удивительно, что в амфитеатре  
Все насторожились и задохся стон...

Северянин образно защитил трагическую двусмысленность артистичности гения, в безудержном стремлении к художественной истине, неизменно раздираемого до смерти на кровавые ошметки о, неусыпно стерегущие ее от полного познания, мотки проволок ядовитых колючек, вечно противоборствующего двуединства любых начал.

Вернемся-ко к нашим принцам, вернее к первой и, кроме, не пожелавшего упустить случай осмотреть начальные владения, автора, пока единственной героине и ее, а не нашим неprinцам.

Возомнившие себя титулованными для нее особами, мужские особи способны оказывались только прикидываться подданными, да и то, даже на краткую увертюру у них едва хватало энтузиазма, терпения и приличий. Скрывали они свое подлинное лицо недолго и, скидывая с бесстыдной мужской откровенностью постную маску идеалиста-подкаблучника, быстро переходили от нежных уговоров и терпеливых объяснений к исключаящим дальнейший союз скандальным доводам и действиям, неизбежно и чаще рано, чем поздно предпочитая положению камер-пажей претендования на доминирующий титул.

Когда претензии случались необратимыми, она сразу расставалась с забывшимися, но и если воля противника полностью подавлялась до отречения от всяких иллюзорных прав, почитая рабство важнее разлуки, то и подобный бросался без осложненных сожалений, ибо никак не мог отказаться от сетований на ее бездушную холодность и докучал постоянными тягостными жалобами на свое, благодаря ей незавидное, состояние души.

Сей всесокрушающий набор многострадальных замет концентрированной кислотой разочарования жгуче выел из ее души тургеневские идеалы в стремлениях к построению открытой любви, заменив их на расчетливый романтизм борьбы с противоположнополюм недругом, где она соскучилась стабильно одерживать предсказуемые победы и размышляла о приложении незатрачиваемых сил и экстраординарных способностей к усложненным маневрам каверзных многоходовок головоломной тактики.

Вот таким образом складывались к моменту времени нашего с вами знакомства сердечные позиции Принцессы, пока что оставляемой на Ее Высочества распутье, для неупущения нащупывания собственной стези в закипающем водовороте повествования.

Как выразился сильно-выдающийся наш писатель Лесков: «Таков Дикенц!». Николай Семенович говорил о пагубном влиянии на, описываемую им, обездоленную героиню обличительно-чувствительных творений, все более забываемого малочитающим человечеством, заслуженно прославленного сентиментального Чарльза, чей крепчающий британский покой в Вестминстерском аббатстве и мы не собираемся тревожить, а по произволу назначаем от его английской фамилии термин «дикенц» полунаучной малой единицей меры мер романного измерения. Какой же термин назначить десятичной единицей? Глупо, наверное, стало бы не учесть национальные достижения, дающие полное право великорусски выбрать шовинистичный, скажем, «толстый». С ударением на «ы», но в случаях окончания числительного буквой «х» ударение пусть падает на «о». Завершаем литполитчас «ч» и поговорим об этом позже, а пока... Чао, Чарли! Один дикенц!

### Г л а в а С л е д у ю щ а я.

В то же примерно время, ну, скажем, днями-неделями несколько позже, по одной, ранее, наверное, самой мрачной в своей полной неромантичности улице в мире, гуляюще-расслабленно, но с неустаревающей роллинг-стоунз-пружинной отчетливостью шел стройный и подтянутый не натренированной, а врожденной спортивностью мужчина в двусмысленно-пижонском одеянии, поражаясь чудотворной реконструированности, превратившей клоакопроводную магистраль в волшебную дорогу к прекрасному и загадочному нечто. Всю нескончаемую улицу усадили вымытыми подстриженными кустарниками и величественными вечнозелеными елями да пихтами и оснастили рядами образцово-классических фонарей с матовыми грушевидно-перевернутыми плафонами на изощренно резных столбах. Поминутно возникали островки крохотных скверов с чугунными кресло-удобными скамейками, мини-песочницами и качелями для детей и аккуратными, изукрашенными оранжево-лазоревыми и бело-желтыми мозаиками, некрупными фонтанами, чьи струи синхронно и стройно били залпами ввысь и тут же иссякали, туго стегнув по зеркальной глади бассейнов плоскими водопадами, но мгновенно взвивались вновь в прозрачность синего воздуха настоящего все пока еще лета, несмотря на уже наступившую календарно осень. По обеим сторонам преобразованной до неузнаваемости улицы выставочно красовались новой отделанностью возрожденные практически из руин дома и почти бесшумно, еле шурша шинами по свежесмытому светло-сиреневому асфальту, проезжали не торопясь, но и без акцентированной медлительности симпатичные один к одному, как близнецы, только разноокрашенные, автомобили, отбрасывая по всей необычайной вокруг-нарядности бесчисленные вереницы солнечных зайчиков.

Мужчина, по нынешним возрастным меркам его вполне можно называть молодой человек, был одет в полу-джинсовые брюки дизайнерско-нестроного-слегка, но ровного силуэта с едва заметным уклонением в мужской клеш, слепяще отливающие мертвенно-синеватым, как лицо капитана Флинта, серебром и для усмирения неприлично-крикливой роскошности украшенные на здоровенно-прямоугольном правом заднем кармане обширным барельефом угловато-круглых букв, сплетенных в замысловатую эмблему, всякий сустав или элемент которой являлся нарочито-нелепо вышитым неестественно-анилинового оттенка нитками, чьи цвета крайне не подходили друг ко другу и к самим штанам.

Этот плевок в лицо хорошему вкусу окружающего мира несколько беспокоил владельца редко-серебряных брюк. Он предпочел бы смотреться неоспоримо-вызывающим и без папуаско-окрашенной попугайности нарушений общепринятых канонов неписанных, но непо-

колебимых границ приличия. Хотелось упруго-канатаходского балансирования между пропастями представлений, ко всем из которых у него нашлись бы сформулированные субъективной логикой претензии. Нашлись бы, но давно уже не доставляли нашему прогульщику удовольствия осознаваемой правоты. Четкие прежние критерии его мировоззрения размылись сколько-то – он едва мог примерно подсчитать – лет назад, а новые или обновленные не только тягомотно-стабильно не складывались, а еще и бесконечно-упорно дробились, вычленились, слипались до полной неразличимости, бешено летая по вселенско-безграничному по неосознаваемости сознанию, без намека на осмысленные траектории, и корежили при катастрофично-частых взаимообразных столкновениях последние остатки здравости, что сильно удручало умственное тщеславие сомневающегося пижона и к тому же еще осложнялось возрастом. Он, в упрек современным меркам, не являлся молодым человеком. Нет, он не являлся, конечно, и никаким старым, а на белом лице его только вооруженный недоброжелательной диоптрией взгляд сумел бы высмотреть намечающиеся намеки морщин. «Выдают глаза», – любят размышлять умники. «Вернее их выражение», – добавим мы. Может, и выдают кого, но глаза описываемого нами не выражали абсолютно ничего или наоборот все, что ему захотелось бы. Он давно уже научился ими пользоваться. Нехитрая наука, не требующая особых тренировок и сверхспособностей, всего лишь одна из сотен обычно-особенностей, выданных желающим представителям человеческого рода неподсудной природой с неведомыми целями. Хозяин двусмысленных штанов мог без дополнительных усилий зажечь в своих глазах никогда якобы негасимый огонек духа несгибаемой личности, или заставить свой взгляд пламенеть мрачным торжеством непобедимого злодейства, или потускнеть от благородно-раненной насмерть совести безупречно-грустного рыцаря, или воспарить к невыражаемым словами вздохам ветров и облаков, на что до сих пор оказываются падки некоторые наивные женщины.

Все что угодно могли изобразить его глаза, а он сумел бы объяснить этот простой секрет, пожалуйста, и обезьяне, захоти она его внимательно выслушать.

Сильно развлекавшая в юности забава вполне надоела и приелась еще в молодости и поэтому глаза его ничего не выражали теперь кроме твердости, сильнее всего наигранной, а их тускло-зеленоватый холодный цвет он при случае и надобности фокусировал агрессивной откровенной пристальностью, чтобы отпугивать мелких уличных и около хищников.

Крупных хищников такими глупостями не испугаешь. Первым делом, они вряд ли заинтересуются кем-нибудь случайно-разгуливающим, во-вторых, они сами умеют скорчить при помощи выражения глаз такую жуткую гримасу, что вздрогнет со страху даже многовековое прожженное привидение, а в-третьих, их просто невозможно напугать всякими гуманитарно-нематериальными методами навроде взглядов и криков. Лучше сразу бессовестно-материально, когда не из чего выстрелить, наносить первым тяжело-травмирующий удар в самые болезненно-запрещенные в цивилизованных единоборствах уязвимости и по возможности также самыми своими твердо-каменными природными поверхностями и отростко-выпуклостями. Если, конечно, умеете и не испытываете отвращения к пусть и защитному, но насилию. А еще лучше, когда даже умеете, но не являетесь профессионалом, немедленно покинуть место случайного действия любым способом, выбрав наиболее спринтерско-быстрый и без малейшего сомнения забыв о толках про честь, которыми вас некогда напичкали спесивые лохи, необдуманно, а иногда и обдуманно желая для забавы вашей гибели. Какая растакая честь сгинуть в стекло-бетонных джунглях и кирпично-каменных болотах? Пусть и покрытых ныне ухоженными газонами и асфальтными полями с большими механическими самодвижущимися игрушками, иногда до захвата дыхания красивыми, желанными и презаблочно, как мечта, дорогами.

Любой здравомыслящий и вовсе не трусливый, а лишь бывалый и тертый нефраер подтвердит вам про улицу и ее окрестности, что бой, в который вы на ней и в них не вступили, есть выигранный!



Мы сильно отвлеклись от нашего немолодого-нестарого твердо-взглядого гуляющего человека, охваченного всевозможными гуманитарно-личностными сомнениями. Впрочем, как говорилось уже в начале главы, он прогуливался по одной из самых мрачных ранее улиц, да что там, мы еще мягко выразились, просто по, в прошлом, откровенно чудовищной улице, пролегающей в одном из гиблых районов крупного города ближнего Подмосковья, не спасающего себя подтвержденной летописями древностью от неизлечимого никакой реконструкцией глобокого уродства. Мыслящий пижон не терял поэтому бдительности, что тоже давно научился делать автоматически так, чтобы последняя не мешала наслаждаться прогулкой и подробно, как патологоанатом, рассматривал, вызывавшие ранее свинцовую оторопь, а теперь головокружительное изумление, пейзажи и окрестности, и, главное, не останавливал вращения лотерейного барабана практически поштучно неприятных мыслей в надежде выловить среди них единственно-выигрышный билет с ключом верного решающего ответа на все ужасающие вопросы.

Не мешающая гулять, наблюдательная и находчивая в случаях форс-экссессов бдительность фокус посерьезней, чем многозначительное хлопанье глазами, но тоже, в общем, легко достигается бегательно-боевым опытом, а он в нужных размерах уже получился приобретен мыслителем, в том числе и на этой улице, трансформировано-загримированной теперь чьею-то сильною волей.

Да, так о чем же размышляет нездешняя личность, прибывшая в эти пропащие места около часа назад, прогуливающаяся с пока неведомыми нам целями и научившаяся чуть ли не с детства коварному трюку маскировать ложными взглядами истинные намерения? В данный момент даже такое дешевое в своей нерыцарской недостойности умение невозможно разглядеть в его глазах – они по летне-солнечному дню ранней осени, подкрашенному и поддымленному усталостью от жары близнецу дня поздней весны, прикрыты солнцезащитными очками, слегка смахивающими по форме на те, что носит один из героев «Матрицы». Или, может, и не «Матрицы», а еще чего-нибудь. Они совершенно черные, легкие, широкие в пол-лица, но при этом парадоксально несколько его оптически суживают, что придает персонажу дополнительный двусмысленный эффект. Очки недешевые, настояще-стеклянные и по всем линиям и кондициям приличные, а вот почему-то цивилизованно-широкие и изящного силуэта стекла – исполняющие обязанности глаз – несколько сбиты в аккуратно заметную кучку. То ли, чтобы от чересчурной изящности не заподозрить носильца в ошибках ориентации в половом пространстве, то ли в целом мысль дизайнера держалась направления, что не бывает настоящих мужчин без наглядно демонстрируемой небольшой приправы гопничества или хотя бы легкого презрения к гнилому интеллектуализму. Гуляющему наплевать на все подробные тонкости. Ему очки нравятся! Особенно нравятся тем, что он их не покупал, а нашел в парке под скамейкой. Присел на скамейку и увидел за ней торчащую из несильно еще посередине лета пыльной зелени черную дужку. Потянул за железко-пластмасску из любопытства рассмотреть повнимательнее обломок и вытащил целые, новые черные очки! Ровно за год до того, практически число в число, он лишился подобных по статусу очков при получении элемента улично-жесткого опыта неподалеку от этого же парка, подробности чего за банально-обычностью не будут рассказаны и в других главах, заметим только, что предыдущие очки своей самоотверженно-алексandro-матросской гибелью спасли ему глаза от неожиданного прямого удара неровно-розочным осколком бутылки и спасли для углечения уязвимых точек напавших, и для возможностей к собственному наступлению-отступлению, и для последующих мимикрических уловок. Найденные через год взамен, средние по цене – не из бутика, но и не с рынка, и, прямо скажем, наш герой никогда бы не заплатил за них тех денег, что они официально стоят.

Незаоблачную, хотя и значительную, в общем, сумму он полагает для очков неприемлемой, да и вообще считает неприемлемым и лишним платить значимую сумму за какие бы то не случилось аксессуары. Аксессуары – баловство! Аксессуары же за незначимую сумму просто плакатируют слабоумие, позорную убогую бедность и отсутствие гордости и твердости

их покупателя! Наш герой давно догадался о бессмысленности для мужчины любых покупок всяких аксессуаров. Другое дело находки или подарки. Они идеально соответствуют понятию безделушки.

Тут хотим еще раз мимоходом отметить, что все вышесказанное о ненужности и баловстве предметов-украшений, по произволу именуемых нами аксессуарами, ни в коей мере не относится к женщинам. О! У женщин совсем другие правила, взгляды, повадки, нужности и смысловые особенности. Обо всем этом тоже, если найдется время, потолкуем поподробнее позже.

Да, стало быть, подарки или находки! Находки несравненно лучше подарков, хотя и последние доставляют случается кое-какую радость. Но подарки все же овеяны некими посторонними для предмета примесями. Первым делом, есть опасность, особенно если получены подарки от близких людей, приобретения ими ненужного вещи нематериального свято-статуса и еще к нему тягу одаренного к нездоровой бережливости. Ну, да это-то не беда, а вот может крыться в подарке и подобие насилия и навязывания постороннего вкуса и воли. Здесь не пожалеем женщин и отметим, что им больше свойственно дарить именно вещи, выбранные по личному-преличному своему вкусу и настаивать на их исключительной для вас подходящести. Оставив в покое и женщин и другие разные подробности, заметим возможность и прямой смертельной опасности. Ах, рискуя упреками в банальности, впрочем, уверенные, что умные нас читать уже поняли, дураки и не брались, а если кто до сюда дочитал, то либо мы, то есть наши герои ему интересны, либо он изучает нас (слабая надежда, что героев) на предмет какой-нибудь уличающей патологии. Сразу скажем, что уважаем обе взаимоисключающие категории и приводим несвежий, но не потерявший от того убийственной наглядности, почти мультипликационный в моральной лаконичности выводов пример дара хитроумно-коварными данайцами Троянского коня несчастным и доверчивым илионцам, поголовно (ну кроме там Энея что ли?) переставшим существовать на земном тогда еще не шаре от собственной губительно-наивной античной глупости. Покорно просим принять еще одну знакомо-банальность – все поумнело с тех далеких времен, людей не обманешь грубо-сколоченной из гробовых досок гигантской деревяшкой, изображавшей из себя увеличенный макет благородного животного, а на деле оказавшейся неизвестным о ту пору штурмово-проникновенным орудием, несшим в чреве передовой ударный отряд боевиков-одисситов. Одиссейитов. Только поумнели ведь и изощрились и мастера-изготовители фальш-игрушек-подарков для взрослых, да и детей.

Мы слегка зарпортовались – уже рассказывали довольно подробно благосклонно внимающим нам о безвредности постоянной бдительности.

Изощрились проклятые антимастера! Изощрились и их Одиссеи! Дочитавшие до сюда или немного выше могут оппонировать нам доводом, что и находки бывают смертельными. Бывают, но это не меняет коренной разницы, в таящейся (плохой или хорошей нас философски не интересует) сути души предмета. Подарок – это сгусток воли другого(!) человека, а то и коллектива, и не всегда цели его прозрачны и различимы, да и человек (не будете спорить?) несовершенно (если не сказать более) в умственном отношении и особенно в самооценке существа. Находка – воля судьбы! Мало того, что это в сто раз красивее, чем воля смертного, это достойнее, загадочнее, а мы, как фанаты находок и враги подарков, лоббируем еще: нужнее, умнее, честнее и все прочее. А если взбредает в голову возвышенное заблуждение не согласиться с судьбой (благородная ересь хотя бы по критерию почти вероятной недосягаемости, чем родственна неутомимому стремлению лучших к идеалу), то как же сильно-преклонно таковое заблуждение должно стать уважаемо сообществом людей мыслящих, создающих, придающих жизни драгоценный смысл борьбы, а человеку подобие венца творения.

Если поделить людей по нашему методу на находочников и подарочников, желаем считать последних низшими существами, не способными на открытия и подвиги. Приводим последний аргумент и из вежливости оставляем его без морали, потому что судим сейчас по

себе. Вернее по нашему герою, которого не знаем и как зовут, и куда он бдительно гуляет по улице (не знаем и ее названия!), и, главное, о чем же он все-таки упорнее всего размышляет.

Герой давно заметил за собой особенность большей любви к дарению подарков, чем к их получению. Поначалу самонадеянно наскоро объяснил себе это своей прирожденной доброжелательностью. Немного поразмыслив – холодным бескорыстием и неотчетливым желанием радовать. Чтобы не углубляться и закрыть тему сообщаем сразу самый его неприятный вывод – он заметил, что, получив подарок, чувствует не одну радость (случается и сильную – красивые и дорогие вещички нравятся ему, хотя он костями ляжет, доказывая, что они не имеют над ним власти). Кроме такой нездоровой радости чувствует он и некий привкус унижения самостоятельности личного сознания или кошелька. Пришло вдруг ему на ум – найдется у него, к примеру, знакомый художник и подарит свою картину. Пусть дарит, только это окажется частица его, себя он подарит на стенку, даже если сподобится написать портрет одариваемого. Короче, заметив, что дарить ему приятнее, чем получать, он, прекращая размышления, объяснил себе все это такой же человеческой слабостью, как любовь к вещичкам, слабостью любви к власти над другим существом, над его волей, хоть в малом, хоть в крошечном, а удовольствие себя-навязывания, решил он, не украшает его, и перестал уважать эту свою особенность.

Морали, как обещано, не будет, но просто чешется перо заявить тему подарков и женщин, до того богата она неожиданными парадоксами, но пора уж вернуться к основному стволу затеянного повествования, а то метафизические ответвления, если ими бесконтрольно увлекаться, никогда не позволят нам добраться до вершины-окончания, что назначено нами, в качестве главной цели-задачи разворачивающегося труда. Не отвлекаться мы не можем, но будем стараться держать себя в рамках, не в пример устроенному выше бесконтрольно-отчетному баловству.

Итак, быстро дописываем, наконец, во что он там одет и вперед, вперед – за нами или за ним, или за кем хотите, читатель, любезный уже оттого, что вы здесь! Сейчас автор, высокопарно именующий себя «мы» с ужасом заметил, что забыл уже довел ли до завершения мысли о находке, и с еще большим ужасом понял, что не хочет даже проверять себя по тексту рукописи, и думает еще – довел, не довел – просто время потерял. О другом мне надо, о другом! О другом я взялся поведать и неизвестно суждено ли мне добраться до белого пятна окончательной точки. Некогда даже выбирать сравнения – приходится пользоваться первым встречным.

Чтобы вернуться все-таки к основному стволу рассказа, заканчиваем описание одежды мужчины. На ногах у него обыкновенные темные мокасины и все. А вот на торсе светло-черная тишотка со свирепо оскаленной башкой тигра в обрамлении пары-другой невразумительных цифр и букв, а в плечах с обеих сторон вшиты зеброй красные и белые полосы с намеком на заострение, символизирующие грозно поднятые с когтями-ножами лапы, дерущего на груди глотку хищника. Такая вот у нашего персонажа майка-маска. Он не помнит, встречал ли такую разновидность футболок – маски. У него такая точно впервые и он ее любит.

По сути своей наш маско-маечник – мужчина в самом расцвете зрелости, однако, по достижениям настоящий мальчишко-юноша, даром, что и случались у него некогда кое-какие успехи. Давно они потеряли практический смысл и материальный, и моральный и не греют его, а безтемпературно тлеют на окраине мыслительного процесса устаревшими символами то ли единичного успеха (потолка способностей), то ли аллегорического наглядного напоминания тщеты творимых усилий. Угнетает его не это. Потолки и тщеты, удачи и неудачи, признание способностей – нет, нет, не с пренебрежением он обо всем об этом думает, но все равно как-то во вторую очередь. Главное для него – это желание, годность и возможность работать. Работать он любит и не любит лениться. Лениться для него – попытка пустотой. Работать бывает подчас каторжно тяжело, и заставлять себя надо невиданными и непонятными непосвященным раз-мерами титанизма усилий воли и, что греха таить, может он иногда по слабости бросить труд

и обречь себя пытке лени, и в этой лени, чувствуя себя бледной немочно-амебой не мечтает ни о чем, даже умереть от позора бессилия.

Для иллюзии самоуважения именует он и усилия воли и бледно-амебную лень своей профессиональной деятельностью. Нас она (может пока) не интересует, за всем тем, что и сам объект считает ее чем-то вроде игры-хобби с наиболее возможным безвестно-смертельным исходом и наименее вероятно-сбыточным полноценным успехом и всеми неисчислимыми богатствами ему сопутствующими. «Наименее сбыточный» и толкнул его когда-то на такой зыбкий путь и он, познав, пройдя, отбросясь, рванув, упав, вскочив, так и бьется до сих пор, а расклад сияет не тускнея, оставшийся в незыблемой и неподвластной герою все той же видо-недоступности, которую он хоть и продолжает штурмовать, но боится не потерял ли он дух, надежду и силу.

Хорошо бы вам рассказать поподробнее почему игра опасна и почему неотвратимо, безжалостно и жестоко наказывает недостойных ее игроков, самонадеянно, как переодетый хам-простолоудин, вызывая на дуэль дворянина, вздумавших безо всяких на то оснований выйти на ее священное поле. Дворянин, раскрыв подлог, плюнет на дуэль и просто убьет посягнувшего на его честь хама и нечеловека, мелкого элемента коричнево-мерзкого болота черни, вдохновляемого гнусными мечтами об опустошительной равно-справедливости. Всем одинаково досыта всего – чисто материальные вождения, ничего духовного. Средневеково-устаревшее дворянское сравнение нами утрировано, и условно, и не знаем, верно ли передает мысль, и нужно ли, но в том к чему застремился с неразумной юности наш лирический клиент и литературный контрагент ничего никогда не менялось, кроме ничего по существу не значащих стилей, форм, художественных конъюнктур и типа прочего тому подобного антуража с атрибутикой.

Ах, бедный читатель! Опять чуть было серьезно не завлекли тебя на ответвление. Чуть не считается.

Угнетает серебристоштанового категорическое нежелание признавать своих легитимных возрастных сверстников равными себе по... По всему! По свежести, по беспечности, по силе, по задачам, по способностям и потребностям и далее до бесконечности, имеющей окончательной целью убедить себя в, и другим доказать свою избранническую исключительность, наглядно выраженную в вечно непроходимой юности. Непреходящей, добро бы! – вскрикнется некоторым грамотным нашим друзьям, все еще упорно ползающим по этим строкам, – непроходимой – это о тупости! Не спорим и хотим, как усердный подсудимый, скрыть меньшим преступлением большее. Тупость-то ничего страшного – она даже не наказуема, если не слишком агрессивна. Здесь же речь может идти о клинике, как выражались в старину, клинике безутешной скорби. Однако даже если наш пациент только и делает, что бредит, прежде вынесения вердикта придется, для подтверждения нашей врачебной добросовестности, рассмотреть и вариант логического проявления именно такого вида недужного расстройства и стилистически присущих ему темных формулировок. То есть допустить для чистоты эксперимента, что (ох, не выгонят ли нас (если вообще пустят) за антинаучные опыты с престижной работы в литературной клинике) возможно, нам просто видится это как бред, или, что пусть бред, но изначально был потенциал к здравости, но под (давлением или влиянием?) превратился из... в... Прошу прощения за двойную хамскую трусость троеточия и вовлечения читателя в наши сомнения. Или читатель уже насмехается над автором и давно видит то, что, увлеченный эквилибристикой акробатического движения по буквам и смыслам, автор заметил только сейчас своим, пенно-замыленным трудовым удовольствием, глазом?

Нет, надемся, читатель еще не столь искушен в наших криводушных влияниях и сновка – дочь ошибок трудных – у него далеко впереди.

Назидательно заметим, что нет и не может быть единых формул и мнений способных объять многообразие явлений жизни и космически-невыводимую многозначительность всяких ее периодов.

Да простит нас читатель, который, наверное, и без нас все это знает, но это назидание мы записали себе и не оттого, что раньше его не осознавали или не могли облечь в ясную форму, а чтобы поставить на вид давние непорядки и проколы в собственном мировоззрении. Про непорядки и проколы добросовестность вынуждает нас высказаться поподробнее, а пока хотим строго и непреложно заметить все же, что «...нет и не может быть единых формул и мнений...» ни в коем случае не отменяет надобности их поиска и святой веры в обязательность если не личного, то общественного или поколенческо-ступенчатого успеха в нем. Парадокс теоретического интеллекта, демонстративно-вопреки общебытовым реалиям выводов знаний о жизни, принципиально ставящий во главу угла идеализм стремлений к неотменяемым и без результата поискам и видение высокого смысла во врожденном и несизифо-наработанном убеждении (несмотря на самолюбивые улыбки лермонтовских старцев), что ключ к уравнению со всеми неизвестными выкован Создателем для Венца творения одновременно с изобретением последнего. За сим прекращаем общие, а следовательно не отвечающие задачам данной работы рассуждения и возвращаемся к остро-субъективным необходимым нашим лично-героевским.

Давние, стало быть, непорядки (в) мировоззрения(и)? Да простит пусть опять читатель благосклонный-уважаемый пичкающего его всевозможными отчетами мыслителя, если где-нибудь неподалеку и недавно он уже втирал ему схожие оправдательные объяснения. Пусть тогда, если решим продолжить сотрудничество, будем совместно считать такую странную черту главного автора, может и маразматическо-нелепым, неприлично-навязчивым и бессовестно-нелактичным, а все же честным и старательным методом размышления.

Еще в утешение друзьям-читателям и в укреплении несомнений в авторском к ним уважении сообщаем, что жертвуем проверкой памяти и текста за недостатком времени в скорейшем стремлении к дальнейшим, точно уж ненаписанным тьмам и тьмам открытий и ожидаемых нашими читателями наших к ним толкований.

Никаких непорядков, если говорить прямо, не было. Однако это губернаторского стиля заявление несло никак не положительную информацию, а вовсе наоборот катастрофическую. Осторожно подбирая смягчающие термины, он (в смысле я) отодвигал от себя, как страус голову в песок, понимание, что не просматривалось прямо по сути совсем вовсе никакого мировоззрения, а вместо него клубистые нагромождения рваных клочков горячего, но бесполезно-безопасного пара, так до обидного и не разорвавшего целительно, усиленно-разогреваемый, казалось бы, медный котелок сознания, а лишь бесстыдно-безжалостно отрывши-открывши в его оболочке многие трещинки и дырочки и высвистевшего через них на ничейно-ненужные просторы в безнадежно-несобираемом виде.

Что хотели мы сказать эдакой несуразной к важности сетования аллегорией?

Попросту (страшному) то, что у него-меня при незамеченном по инфантильности переходе от молодости к взрослости, произошел не неизбежно-нужный пересмотр критериев и смена понятий, а полное их размытие, унесшее грязно-пенными потоко-водами всякие ясно-личные главные представления: хорошо-плохо, черное-белое, нужное-не нужное и тому подобные, определяющие нравственные позиции человека в изменчивых обстоятельствах представленной ему судьбой современности.

Он-я не смог бы даже вспомнить и установить рубеж, с которого, ах, если бы просто перестал что-либо понимать, нет сильнее сильного смущало то, что наоборот понимал все и все лучше, но любому пониманию произвольным и неконтролируемым, как нервный тик, его болезненным сознанием сразу и неизменно придавался второй, противоположный смысл. Это-то оказывался еще самый безобидный эффект не отпущенной от себя вовремя молодости, а часто, живущий неподчетно-непроверяемо тумблер сознания (или без), оглушительно



щелкнув для внятности, выкладывал всеерными пасьянсами четыре, пять, десять, сто, тысячу одинаково подобных по степени подробности вариантов решения, должного по всем законам разума оставаться единственным.

Опять заметил автор, что не сумел полностью уйти от одного (одного ли?) из декларируемо-ненужных ответвлений, и оно пробралось за ним незаметно в страницу и лопається со смеху, клейко прилепившись к не предназначенным для него строкам. Что ж, теперь поздно. Теперь на повестке "реального масштаба времени" бред. Вернее просто закрытие собрания. Как там выражались в иную старину? Не помню. Помню другое! Короче, – обозначения, категории, термины. Ими приходится заниматься всерьез. Всерьез приходится тратить драгоценное и невосполнимое время всего лишь на переговоры об идентичности понимания сторонами значения терминов. Так и наша разношерстная группа, слабо объединенная не названной, туманной и, с большой долей вероятности, недостижимой целью. Вот тебе (вам, всем нам) одно из правил игры-войны, в которую мы самоотверженно ввязались в попытке. Оставим это «в попытке».

Правило в нашем вульгарном изложении звучит примерно так: «Если ты (участник, игрок, ну или неважно – боец) настоящий, подлинный и достойный, ты скажешь себе и товарищам: «Достижима цель или недостижима не нашего ума нынче дело. Ныне дело наше не рассуждать и сомневаться, а идти и биться во всю силу физических мышц и интеллектуальных способностей. Долг ли это (кому?), зов ли (чей?) – это наш путь! Мы (я) пошли по нему своей волей. Сюда нас никто не приглашал (отпадает зов?), а по понятиям – за язык-перо не тянул в прямом смысле, скорее горячо отговаривали. Теперь пойдем и увидим, каков он – сей всегда загадочный, часто страшный, и, как редкая награда исключения для самых, такой путь, ради которого и загорелась высокой надеждой наша мечта! Пойдем, если пустит, и увидим, если покажет, или погибнем от него, но и это теперь, как тамплиерского типа послушники, приемлем великой наградой».

Во! Слыхали, дорогой читатель? Это половина правила. Другая его половина (не будем полностью излагать, а так вкратце) – вернуться с первых шагов, вникнув в неигрушечность и чреватость, и практически безнадежность усилий. Между тем, для второй половины первого правила, вступает в узаконение плохо-объяснимая лоховская особенность любой, даже самой ушлой, человеческой натуры (лох не мамонт – не переведется, потому как без лоха и жизнь плоха), ограждающая сознание от полного видения ужаса испытаний, или, скажем мягче, спортивный азарт и она-натура (он-человек) решает: «эх! махну все же, была не была, хоть не скучно тут!» Тут не скучно! Тут всяких правил одних! Да еще правила-то часто ложные, фальшивые! Обманки! Пустышки! Читатель, ты (раньше я был на «вы»?) не думай, что мы сталкер. Неустановленный (самопровозглашенный главврач не уверен в полной правомочности оскорбительного термина-диагноза) бред! Как говорил известный скорохват и волкодав старший лейтенант Таманцев: «Придется их (в нашем случае его) устанавливать». Придется, но нам теперь уже не до того, а может, чтобы провести процедуру установления надо ползти назад по пройденным строчкам? Ой, не до того – здесь и сейчас мы получили достаточные пока нам факты. Глядишь, ими и обойдемся, да и задача была описать не внешность даже (сама собой сфотографируется), а одежду, одну-другую повадки (кажется, забыли) и все вкратце, только для штрихов завершения скоростного портрето-образа, оттого, что величина его для наших исследований нам самим пока неизвестна. До следующих встреч, проклятый пижон! Сколько отнял ты у нас времени!

Читатель, не бросай меня одного здесь на один с непосильными трудами и множаси-мися, как вражеские клоны-воины задачами! Впрочем, не просьба это. Ничего я тебе не обещаю, но иду дальше. Возврата нет. (Смотри единственное записанное правило.) Верю, что я не смертник – сын ветра – камикадзе. Нам подобное не свойственно. Мы выполняем свой долг, не

лишая себя надежды на жизнь. Тем интереснее и выше желтолицых островитян. Выше, многослойнее, нервно-развитее и ответственны именно стойким нашим обычаем не идти заведомо на смерть. Мы отправляемся в бой! На смертный бой, в смысле с не исключенным смертельным исходом. Но мы не идем умирать, мы идем победить! А их хождения и летания в белых повязках на смерть – один из множества азиатских военных трюков, коими всегда славился и будет славиться восток. Да и то, фокус-покус-то нерассчитано-пропагандистский, ведь камикадзе не оружие, во всяком случае, в промышленно-военном смысле ведения боевых действий. Ну, случались, бросающие в дрожь и самих кимоно-воинов и противника исключения. Адмирал-камикадзе там какой-то, лично потопивший американский авианосец. «Я вам покажу, как надо топить вражеские авианосцы», – вскричал изможденный поражениями узкоглазый адмирал, прыгнул в не приспособленный к возвращению самолетик-гибельник и стал таков, рухнув в пороховой погреб янки. Самурай-банзай Рыбников. Не знаем в подробностях, как на самих японцев действовали сомнительные подвиги соотечественников-самоубийц, а вот русско-советский медведь, раззудись плечо, подивился всего лишь странности малого и местом, и ростом (вот насчет ума и духа промолчим) дисциплинированного народца и накостылял по шеем Квантунской армии, даром даже окажись весь ее личный состав камикадзами, ну, а англичане (в тот раз их атлантическо-единоутробные братья янки) всегда традиционно брезговали вникать в убогие туземные тонкости доморощенно-самобытной психологии. У белых островитян всегда по горло хватало своих проблем, чтобы искать время даже выслушать вчера еще неумеренно лютовавшего врага, а сегодня кривящего непроницаемое лицо в вечном своем заблуждении о превосходстве палочной дисциплины над осознанным чувством Родины, предпочитая истерику храбрости и противопоставляя коварство военному искусству простодушного белого человека.

Только простой белый парень, как правило, при всей своей же простодушности, способен щедро поделиться продвинутыми безжалостностью и бесчувственностью с любым самым лютовсвирепо-гортанным смертником в глупом кимоно без ущерба для себя, и презрительно-беспощадно пнуть, зарвавшегося в безумии ложного угара, восточно-островного противника зверским ядерным пинком.

К чему это я? Ах да! Нет, мы не скифы мы! Не азиаты мы с раскосыми и жадными очами! Само даже появление у нас хотя бы одного того же самого Блока Александра противоречит этим балаганным выкрикам. Впрочем, Блок – поэт и никто не вправе судить о правомочности его высказываний, будь это пусть бред. Ага! Вот, читатель, характерный штришок возможного в будущем нашего обширно-великого полотна. И не обольщайся в том смысле, что мы якобы бредим.

## Еще Одна Следующая Глава.

Сказать, что он в свои семьдесят выглядел сносно – бессовестно погрешить против истины, а это в корне противоречит целям нашего многословного труда. Погрешить не в том смысле, что приукрасить, а наоборот не оценить редкого уникального чуда природы. В свои семьдесят, ну или вокруг них (мы точно не знаем), не поверишь, виртуальный друг-читатель, он выглядел примерно на пятьдесят, при том пятьдесят таких молодых, спортивных и куражливых. В нем все еще оставалось все мужское, ничего стариковского, ни намека. Походка, посадка, осанка, привычки, хватки, коньяк и автомобили. Могли, разумеется, случаться с ним конфузы, когда на лицо его и на шею, выглядывающую из воротника селекционно-отобранной по границам куртки, попадало неподходящее к его подлинному почтенному возрасту освещение. Нескромный луч вдруг изловчался высветить потрескавшиеся и глубоко, как окопы, прорытые сетки серо-бурых морщин, сплетающихся в необратимом хаосе бесчисленных пересечений, и, астрономичностью количества, не уступающие цветастым шедеврам Кандинского.

Но то мог случиться лишь миг ужаса, если кем случайно и замечаемый, то и забываемый сразу с бесследной быстротой. А вечно юный, резвый, бессмертный луч успевал, видимо, соскучиться еще до попадания на отталкивающе-неаппетитный компромат, и спешил отвернуться, убрать себя, умчать свое, сотканное из нетленного света, величие от удручения увяданием к только и достойным его неподдельным красотам земли и мира. Старик прекрасно знал свои недостатки и сам не ленился избегать нежелательных очных ставок с естественными и искусственными источниками разоблачения.

Да и что такое морщины в новее новейших времена пластических пересадок, имплантантов, ботоксов и гениальных в присущей им бессовестности хирургов, способных европейски отремонтировать самые разрушительные по степени жуткости повреждения, неумолимо и некрасиво отживающего с курьерской скоростью, лица пациента, виртуозно-бесшовно зашив и заклеив полностью всю поверхность естественного безобразия заплатками, вырезанными из... того же пациента. Из... Троекотие мы, читатель, ставим не из ханжества, а от гадливости проныкновения в гнусные и низменные для нашего высокого повествования тайны.

Тогда еще придется отметить, что ежели у пациента не нашлось годных для реставрации участков материала, а то и понадобилось сменить вышедший из строя орган, тысячи свежих особей обоих полов, загибающиеся в тяготно-бесцветных, монотонно-немногочисленных и лишенных светло-положительных эмоций условиях жалко-убогого быта и мелко-зарплатной жизни, подставят для срезки и вырезки любые требуемые части никому и не нужного в целости тела, ну, и купят, глядишь, скинувшись подержанную иномарку – символ успеха загробного мира дворов, заживо хоронящих на своих узких асфальтных лентах, чахлых газонах и отвратительных в чудовищной крохотности квартирках целые поколения, не выпуская свои жертвы в мир живых до самой уже естественной смерти. Мир живых настолько далек от мира мертвых в собственной чудесной элитной малочисленности, что знает о нем по совсем отдельным верхушкам и недостоверным слухам или по особенным в бытовой бессмыслице жуткостям, смоченным кровавой новизной аттракционов небывалых по дикости преступлений. Мир живых и не подозревает, что там есть мир мертвых. Он думает, что там находится продолжение мира живых, только бедное, глупое и несчастливое. Точнее, он и вовсе не думает о том мире, неисправимо некрасивом и всегда в белесом тумане от пара многолетне-стираемого белья дешевого рейтузного, цвета и толщины, материала, да в запахе ободранных кастрюль с, десятилетиями булькающим бесцветными пузырями, обрыдлым супом. Вовсе не думает, а вспоминает лишь в подобных вышеуказанным случаях. Счастливым не нужны несчастные.

Ну, а для мертвых большой и богато-малонаселенный мир живых так и просто марсианская сказка, фантастические движущиеся картинки которой они жадно и по возможности безостановочно высматривают в, мелькающих ядовито-разноцветными полосками, квадратно-прямоугольных жидко-кристаллических стекляшках телевизоров и компьютеров.

Однако, нас носит по волнам, никак не принимающего должную форму повествования, без руля, ветрил и медного компаса. Как это мы еще исхитряемся хоть контурно придерживаться генерального направления? Впрочем, плевать, потом разберемся, если тогда еще нужно останется. А пока, вперед, уважаемые! В том смысле, что надо вернуться к бодрому старичку. Мы уже начали нужную к нему мысль, но по вредной привычке лирически оступились и полетели неудержимо и некрасиво в кювет очередных абстрактных рассуждений, отягченных вульгарно-упрощенной социалкой.

Старичок, говорим, хоть и не лез под недружественные почтенным седином лучи, не сильно переживал морщинистые неприятности, тем более, что не собирался пока еще никак расстаться со своим, давно, еще с тех пор когда тот в действительности был подлинным, продуманным и сложившимся образом настоящего мужчины. Ну, а настоящему мужчине не положено глубоко переживать по поводу своей внешности, каких бы размеров не достигали неизбежные возрастные погрешности.

Среднестатистический мужчина должен переживать чуть-чуть: побриться, умыться, душ, зубы там, чистые трусы-носки и одежда. Если немедленно не остановиться с перечислением, то уже начнет зашкаливать к подозрению на нетрадиционное. Да еще недавно завели моду на платоническое нетрадиционное.

А одежда?! О, одежда!

Вообще-то нормальный мужчина (не путать с настоящим), достигнув совершеннолетия, носит (если есть возможность) только костюмы классического или классическо-спортивного покроя, ориентируясь на линии, цвет и количество пуговиц, принятые в текущем сезоне. В теплую погоду он носит легкие и светлые, изредка (повторяем: изредка!) может позволить себе надеть белый, зимой теплые и темные, но без фанатизма и также, только в исключительных разовых ситуациях, надевает черный, всегда отдающий отдаленным, а то и близким гангстеризмом или кладбищем. Спортивные, специальные и прочие костюмы нормальный мужчина наденет только по соответствующему случаю. У настоящих мужчин (что тоже неплохо) отношение к одежде чуть другое в силу специфических спецзадач и искривленного видения себя со стороны. Они тоже те еще консерваторы, только с какой-то противоположной позорной стороны спагетти-вестернов. Или не спагетти, а так просто общей отсталости советского человека, плавно и безболезненно доставшейся в наследство человеку российскому. Еще пресловутому российскому достались в наследство корявость, убогость и трусость внешнего рисунка поведения, включая в массу и непревзойденное нигде в мире умение безобразно, сиро, косо и бесцветно одеваться, вне зависимости от имеющихся средств. Вот почему интересно не достались по наследству громадянину-россиянину интеллигентность и альтруизм, вдумчивость и мягкость, неподдельный интерес к искусству и литературе, стремление к образованию, насмешливое отношение к TV и не омраченная грязными познаниями новорожденного капитализма личность, ставящая духовные, да и обычные людские ценности несомненно выше материальных? Не дает ответа.

В общем, настоящий мужчина запросто носит джинсы в обыкновенной гражданской жизни, но классическо-функционального ковбойского кроя, и никогда не наденет какие-нибудь, выходящие за рамки этого благородно-пастушьего заокеанского облика. Самый страшный разгул ими себе позволяемый – чуть-чуть поэкспериментировать для видимости разнообразия с блеклыми и, строго говоря, неотличимыми цветами парусиновой ткани.

Описывать их ботинки, рубашки, свитера и, купленные в не первого статуса за границе, куртки (в том числе и кожаные, как без них?), если по удачному стечению обстоятельств и не коробящиеся на некоторых владельцах, то все равно неизменно нелепо обрисовывающие итак далекие от совершенства силуэты, не поднимется перо (или стилу?) даже у болезненно-многословного автора.

Костюм у мужчины обязательно есть, иногда и два, есть три-четыре галстука и столько же рубашек, а у наиболее продвинутых джентльменов найдутся и подходящие на нестрогий взгляд ботинки, однако костюм он надевает на мероприятия вроде похорон, чужих и своих свадеб, театров или ежегодно-отчетной совместной с начальством топталовки вокруг необильно уж накрытых столов, где все же удается всем желающим напиться как следует.

Подобные мероприятия мужчина не любит во многом из-за необходимости надевания непривычного костюма, мешающего ходить, заставляющего хозяина спотыкаться, биться об углы и людей, ронять в карман пепел со средне-дешевых сигареток и жалко, как первоклашка, вертеть шеей молотобойца из, вышедшего из моды еще до Новой Революции, воротника с архивно-острыми или вызывающе тупыми углами, удобренными перхотью.

Только топталовку он еще и переносит как-то, да и то оттого лишь, что сразу можно сорвать ненавистный галстук и сильно напиться, и костюм уже не сердит его (его уже ничего не сердит), а наоборот становится предметом, вызывающим органическое веселье своей античеловеческой полной нефункциональностью.

Да, да, не изумляйся, мой любимый читатель, из своего офисно-среднебуржуазного мира и не воображай себе надменно, что озлобленный от писанины автор опоздал со своими отъявленными враками лет на десять-двадцать и, как закоснелый профессор-ботаник, способный пойти на президиум Академии Наук в лиловых толстых кальсонах с гультфиком без пуговиц, черпает познания о народной жизни из студенческих воспоминаний, когда видел народ из окна троллейбуса много раз и познал его. Ну, и жена с ее знакомыми подбрасывают нет-нет полезную информацию, годную для обработки отдыхающим от научных открытий мозгом. Его знакомых в дом не пускают, да у него их и нет, а пускают только хвостатых студентов, и они и он ни о чем не беседуют и стремятся побыстрее друг от друга отделаться и избавиться, до того неуютно и чуждо пребывать им совместно у него в кабинете. В аудитории профессор закрыт кафедрой и статусом, а отделенные от него студенты легко высиживают два академических часа, думая свои думки.

Тьфу! О чем это мы? Откуда взялся профессор? О-ох! Это уже чистая химера, сама без предупреждения и разрешения вылезшая из головы автора в приличной с виду личине, но беззастенчиво прыгнувшая в рукопись (хоть бы в книгу!) прямо в грязных болотных, пахнущих перегнившей жижей, сапожищах и без стыда и сомнения, оставляя жирно-черноземные следы, стала захватывать жизненное пространство на этих бессмертных страницах, да еще притащила за собой целую ораву поделльников, глупо и неумело переодетую поголовно студентами.

Стоп! Стоп! Стоп!

Гражданин читатель! Это вы виноваты, зачем вы со мною спорите? Даже если я и ошибаюсь, то все равно не так как вы, а выше, тоньше и умнее! Эту необходимую для вас аксиому прошу помнить всегда, а сейчас немедленно требую вернуться к сотрудничеству, а то проклятые лжеботаники преступно протащили нас с вами по дикому и ухабистому степно-белесо-выжженному беспутью в ненужную и вредную совместному замыслу сторону.

Эх, может, я и вправду утрировал, а может и совсем все не так, да какая теперь-то разница? Все эти глупости уже забрались в книгу (неужели все еще рукопись?) и вылавливать их в наших же навьючиваниях и выгонять на верную погибель из теплой книжки как-то получится по-кулачки. Пусть живут – места не жалко!

Так вот, даже если я кругом ошибся и заврался все это, говорю, неважно, ведь недобитый, в смысле недописанный нами старичок не имел к обрисованной нами прослойке никогда ровно никакого отношения, что не избавило его от присущих настоящим мужчинам особенностей, разве, что у него это, будем честны, побогаче, потоньше и, в целом, поэстетичнее, конечно, выглядело, чем у того фантомного пролетариата, что пролез к нам еще до ботаников. Старичок всегда имел и до сих пор ничего из нижеследующего не утратил: элитно-редкую профессию (указывать мы ее не будем, пока не доберемся до фабулы), солидных друзей, солидную квартиру и солидную тоже всегда зарплату и, конечно, хоть и не потянул бы даже на самого жалкого в позорном нищенстве олигарха, оказался к своей тщательно скрываемой старости со сбережениями, достойными называться деньгами. Не уточняя сумму, можно сказать, что сбережения позволяли ездить за границу, когда вздумается, покупать не в кредит необходимые или понравившиеся предметы вроде средней, но новой иностранной машины или, при надобности квартиры, а то и двух. Но все такое у него уже имелось, а небольшая, но заметная прививка-примесь некоей торговой крови (не в обиду никакой нации будь сказано) дала счастливую способность сохранять сбережения нетронутыми и даже приумножать помаленьку, никак не плюшкинствуя и сльвя не только среди друзей, а и среди многочисленных разновозрастных знакомых человеком щедрым и не гнилым. Особенность входящая в обязательный набор мужчины и джентльмена в отечественном понимании термина. Единственным, чем не обзавелся наш супердедушка за всю свою долгую и пеструю, по его представлениям, жизнь, оставалась жена и приятно не прилагались к ней по причине ее отсутствия неродившиеся дети, и так и не узнал никогда он, что такое семья и не познал лучших в мире радостей семейного человека,



не познал тяжелого и тем благотворного чувства семейной трудовой ответственности и, таким образом, недополучил некоторых, только в собственно-созданной семье приобретаемых, драгоценных для полно-цельной органической личности качеств.

Вывод уже написан, но повторяем для наглядности: дедушка в приличных джинсах не стал полноценно-увесистой личностью ни в жизни, ни в профессии, хотя нимало не подозревал о таком собственном личном прискорбном обстоятельстве, да и знакомые его (некоторые даже семейные) не задумывались о невидимой той особенности по отсутствию необходимости копаться в душе доброго приятеля.

Он оставался всегда жизнерадостен, искренне со всеми приветлив, завсегда в любое время представлялась возможность завалиться к нему с пустыми руками и алчной компанией, что сильно ценилось особенно его молодыми знакомыми. По работе можно было просить у него помощи и, даже если размер таковой случался значительным, она все равно оказывалась качественной и вовремя получаемой без тени современных – ты мне, я тебе – глупостей. Про разные мелочи, вроде взятия на неопределенный срок денег взаймы, не стоило бы и упоминать, но требует логика документа.

Прекрасные мои читатели! Автор сам удивился возникшему беспричинному взбодрению и своему желанию обратиться в мечтах не к одному читателю-образу, а к подобию аудитории. Дорогие мои, ваш автор максималист, рассуждает крайне субъективно, не признает золота середин, да и сам уже два раза бывал женат. Не будем касаться его личной жизни и личных ощущений – и он, и они нам не нужны и к фабуле, к которой мы продираемся с невероятными трудностями должны иметь только служебное отношение. Пусть себе автор выполняет его прямые обязанности, некоторую топорность коих придется всем нам простить ему ввиду дикой спешки и такого непроворачиваемого количества трудов, что не снилось самому великому высоконравственному графу. Главному.

Правда, мои алмазные, вы же видите эти дикие горно-кордильерско-андско-альпийские нагромождения породы и мусора и по высоте, и по протяженности; и добросовестность говорит, что все они обязаны стать почти вручную перебраны вплоть до последней ничтожной бумажко-буковки для исключения потери самой мелкой золотой песчинки всяко-необходимой окончательному и полному решению комплекса, никем более кроме нас не могущими окантаться решенными вопросам.

Пренебрежение мелочью в нашем, возможно, самом тонком на свете деле нарушит балансы доказательств, подмочит репутацию незапятнанного равновесия и даст нежелательную возможность двусмысленных толкований и извращений, а то и переворачивания наизнанку предлагаемого нами одного-единственного смысла. Коряво сказано? Не знаю, мне некогда перечитывать – у меня тут со сроками напряженка, так что кое-какие, уже найденные драгоценности полагается по условию обнаружить сразу выставляемыми и мы тут же кладем их в наспех сколоченные грубые стенды и без задержек ведем к ним экскурсию, а то поля, горы, моря, леса, острова, города, виллы и все остальное со всеми ожидают археолога пера и глубокоководно-космического инженера не только человеческих душ. Что это мы, моя радость, хотели этим сказать? Ждут, стало быть, безальтернативного специалиста, способного все честно перекопывать, переграбывать, провеять и сделать долгожданные всеми и, надеемся, верные выводы.

Ну, и до стиля ли тут, граф? Простите за фамильярность, но поймите меня по корпоративной этике, а добросовестно-пуантильные стилисты в нашей с Вами (необъятной и недосигаемой по ценностям достижений никакой другой национальной литературой) отечественной кладовой писателей, постоянно отыскивались и никогда не переведутся (не мамонты), и наш стремительно вымирающий читатель не лишится даже крохотной незначительности в, требуемой его искушенной читательской душой, высокой эстетике.

Ах, граф, позвольте мне еще заявить Вам, что Ваш выточенный до эталонного совершенства стиль, все одно навечно останется даже приблизительно недоступным.

Уф! Куда там запропастился меж оправдательных, ругательных, льстивых и все прочее строк разбираемый ныне нами неполноценный старичок? Да, да – ослепленным фальшивой лжесвободой одиночкам даже не дано понять глубину собственной ущербности, твердо и несдираемо напыленной на них ядовитым покрытием скрытого несчастья.

В Евангелии, в одном из Посланий, Апостол Павел говорит о свободе христианина и несвободе язычника и, да простит нас Апостол, хотим перефразировать по смыслу его объяснения для нужной нам формулы свободы человека семейного и рабства в пустоте и темноте незнания гармонии холостяков и одиночек.

«Православная Церковь решила насаждать Веру мечом и огнем, – пишет протопоп Аввакум, – каки таки Апостолы научили? Не знаю». А Лесков пишет: «На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и «до Христа дочитался», с того резонных поступков строго спрашивать нельзя». Это мы к тому, что вроде же не богохульствуем, приспособливая священные труды к личным нуждам? Заодно мы и графу еще разок по ходу выразили почтение, а описываемый старичок опять воспользовался нашим отвлечением и выскользнул из под нашего универсального (в смысле – при необходимости мы им гвозди заколачиваем и груши околачиваем) луча-телескопа. Или это для звезд на небе? Пусть лучше будет – мелкоскопа (так выражается лесковский Левша) – Лескову доверять можно. До звезд на небе нам еще рано, а вот внутрь мы лезем неудержимо и страстно, не сомневаясь в неограниченных правах, да это, в конце концов, и является нашей главной и профессиональной обязанностью. Трудоемкой с перегрузками. Ох! Ждет тебя беззащитный читатель катастрофа, когда у твоего Вергилия откажут от перегрузок здоровье, нервы и память. А, ладно! Будем надеяться, что автор для снятия напряжения сам с собой кокетничает с безобидным оттенком вульгарности и представляет себе такое поведение не оскорблением читателя, а самоизобретенным застольно-кабинетным упражнением.

Чтобы закончить полностью со скользким хрычишкой заявляем напоследок еще разок – холостяк, человек неполноценный, инвалид (степень нам еще предстоит выяснить) души и калека сознания, и неявный сектант-одиночка, с немалой подкраской извращенца опаснее половых, не вызывающих ощущений естественности и, большей частью, не оспаривающих трагическую болезненность ненормальной психики. А заяви нашему разбираемому наши же выводы! Нет, он и выслушает, и поговорит, и обсудит – малый-то он, помните, покладистый, добрый и характер имеет... Как это? Толерантный? Нормальный, короче, характер. Адекватный в обществе и способный на уживчивость, но мы, описанный выше протокольно изъясн, заносим в добытую нами наконец характеристику. Без пристрастных целей, но с обещанием при случае незамедлительно и беспощадно такой для нас важной уликой в полной мере воспользоваться. Ишь, ты! Ладно, там еще какой-никакой Шерлок Холмс холостяк. Да ведь он – гений! Уникум вроде нашего inferнального ботаника. Исключение, да и то, кажется, все-таки потом женился. Верных сведений на данный счет под рукой не найдется и неважно – Ватсон-то уж точно женился, и вот тут как раз надо оговориться, что наши бескомпромиссно-отрицательные суждения относятся именно к выбранной позиции, а не к людям, оказавшимся в подобной ситуации волею непреодолимых обстоятельств. Уж не дураком ли я себя выставил представленным объяснением? Подыми обсуждаемого старичка ночью со сна и спроси его, что лучше: семья или одиночество? В идеале семья, уверен я, ответит непроспавшийся хрыч, не задумавшись, и, в результате,ставляюсь я на собственной выставке не в безупречном освещении умственных способностей. Впрочем, вот вам еще повод убедиться в моем беспристрастном бескорыстии и полном отсутствии личных интересов в мною же и проводимой и обеспечиваемой труднейшей и опасной экспедиции за, не буду скромничать и лицемерить, истиной для возможного общественного блага и с гуманными целями добычи недостающего материала для новых исследований некоторых белых пятен на карте человекознания.

Итак, читатель, пройден еще один сложнейший и обидно-микроскопически (о, вспомнил – спасибо и до свидания, Николай Семенович!) мало-придвинувший к генеральным целям отрезко-отрывок невиданного по размаху замысла труда. Однако он позади, и мы устремляемся дальше вперед и верим, что дойдем и добудем, и... как там у нас выше сказано? Сказано: не буду лицемерить. Эх, не хватает мне условий и верных квалифицированных помощников, чтобы лучше удерживаться от изредка прорывающегося паясничания! Ну, да в целом, если и вредно оно кому из толкущихся на площадках и дорогах экспедиции, то лишь одному из них, зато самому деятельному и незаменимому участнику и вдохновителю! Умные поняли – *verbum sat sapienti*, а дуракам не наобъясняешься. А бессребреническая святость указанного вдохновителя, равнодушие к славе и великодушная жертва тщеславием широко и неоспоримо известны, а теперь и подтверждены первыми успешно пройденными этапами с открытиями и находками уже доказавшими верность предыдущих теоретических обоснований в крайне-срочной необходимости авторской экспедиции. Так что разберется сам вдохновитель с этим паясничанием, нейтрализует вредно-побочные его воздействия и сохранит терапевтический эффект для героических своих сотруженников!

За работу, ваше благородие!

Так-с! Кого мы теперь представим пытливому оку верного читателя, благосклонно сдерживающего буйное нетерпение добаться до фабулы невиданно-разрекламированной, небывало-значительно анонсируемой и столь щедро-трескуче авансируемой, что вне зависимости от других результатов невиданного в литературной истории предприятия, провал или успех этой, хранящейся пока в непроницаемой тайне, фабулы, одинаково мощно станет ударным бойком общественного взрыва, но, куда понесет нас неизбежная стихия или куда она поведет не может даже предположительно ответить ни один из многочисленных экспертов, уже не первую неделю ломающих головы над открытыми в абсолютно свободном доступе и уже значительными материалами проекта.

Некоторые специалисты даже подозревают бесстыдно-кликушески декларирующего бескорыстие главного автора в изощренной схеме многоходовой менеджерской спекуляции на стремительно возрастающем всеобщем национальном нервяке. Подозревают в оконцовке аферы, жульнически-быстро превратившейся из мелкой в гигантскую, бесследное исчезновение заводил со всеми (уже сейчас огромными) деньгами с надрывающим животы выдохотыванием тупых, угрюмых и неповоротливых кузьмичей-обывателей и их облапошенных защитников. Впрочем, какие там животы? Цинизм художественного руководителя графоманской аферы, шельмовским образом получившей государственное финансирование, теперь не вызывает сомнений и у его самых горячих поклонников или влиятельных покровителей. Ему даже власть не нужна! Не нужны никому единолично и такие громадные деньги – на одну десятую этой суммы пятьдесят лет можно обеспечивать все население земного шара, включая любые индивидуальные капризы и пожелания излишков.

Граждане! Вас не раз уже обманывали всякие способные проходимцы! Будьте бдительны! Бодрствуйте! Что же среди нас не нашлось ни одной, равной безродному выскочке, головы? Ничего, мы не зря строили новое общество и не собираемся сидеть, как бараны на заклании и ждать катастрофы, уготованной нам хитрым, коварным и беспощадным клоуном-аферистом!

Из доклада главного аналитика Верховного Ученого Совета.

Дополнение к докладу главного бухгалтера Верховного Ученого Совета.

... Я знать не знаю, да и не стремлюсь узнать, что такое фабула, о которой заполошно орет уже несколько недель вся страна от уличных мальчишек до первых государственных лиц. Я не лезу в чужую епархию и не стыжусь признаться, что ни в зуб ногой в хитросплетенных, закрученных, сложных и недоступных для понимания гуманитарных проблемах, внезапно и

страшно, как цунами с землетрясением и селом, в мгновение ока снесшим все наши, в том числе и святые, устои к растакой-то нехорошей бабушке! Прошу прощения – эмоции хлещут через край от жестокого в своей нераскрываемости фокуса и нелюдской мгновенности обесценивания и нас и всех наших достижений! Эх, не буду я больше рассусоливать общее горе, но, используя обломок раздавленной насмерть копытом бездушной стихии (о, горе! вот она невиданная чума гуманита...гуманита...тьфу!), царицы точных наук... скорее слушайте и смотрите, что показывает и говорит последний калькулятор здоровым и одно-смысловым языком...

Вот, что говорит этот, тоже уже умирающий, последний герой техно-сопротивления несмысленно-революционным убийцам-фанатикам, замороженным и направляемым зомбическими песнопениями стальных, беспринципных и безродных гуманоидов, свирепых клоунов и жутких фокусников:

...так называемая, сведшая в одночасье со светлого пути точного разума во всеобщую и теперь неизлечимую эпидемию губительного удовольствия взаимоисключающих толкований, бесплотная и невидимая фабула, по последним в мировой истории отчетам аналитиков, дает шансы один к трем оказаться преступно-виртуозно изощренной выдумкой сегодняшних звезд-аферистов и только один призрачный шанс, что гуманоиды не наврали и фабула, явившись из мрака небытия, в мгновение восстановит всеобщее повреждение в умах и механизмах. О! Я проклинаю свою кончину! О, я позорно умираю презренным гуманитарием!

По залу Аналитики в полной тишине разносится звук негромкого щелчка, и главный бухгалтер, сквозь рвущийся из глаз, как из лопнувшего пожарного шланга, поток слез, всхлипывая и горестно шмыгая, объявляет:

– Калькулятор умер!

Аналитики оседают на своих местах с бессмысленно выпученными глазами не в силах ни говорить, ни шевелиться и только нездоровое сопение сотни людей слегка оживляет неприличную атмосферу, поголовно потерявшего от умственной слабости все приличия, помпезного зала.

Экран телевизора гаснет.

Отлично! Теперь не только Главному Вдохновителю всеобщего ужаса и его неизменно-верным сотрудникам нет пути назад! Теперь никому нет пути назад! Там, где назад – ничего нет! Вот оно – вдохновение! Вот они его, предполагаемые много веков, волшебные свойства. А не выдержавших напряжения грандиозной перемены после окончания всех работ устроим всем Советом в тихом комфортном местечке и даже разрешим иллюзию аналитики.

Да, все отлично, но это лирика, постоянно останавливающая маховой шаг трудовой солдатско-пехотной прозы и удлиняющая путь к нашему с вами торжеству. Как же от нее хоть временно избавиться? Жаль все же, что лирика неточная наука! Помогает она нам, спору нет, но теперь прошла пора креативных обсуждений и ошеломляющих новизной открытий. Теперь более всего нужна дисциплина! Чувствуя это, несколько солидаризируюсь с погибшим калькулятором и проклинаю своих братьев-гуманоидов за фанатичное, принципиальное и невышислимое презрение и звериную ненависть к единственно-спасительной безукоризненной дисциплине!

Ладно! Тьфу на не избежавших заразы внезапного слабоумия и не отличающихся от собратьев-точечников, математиков и аналитиков, но зато еще и потерявшими всякий страх и стыд от упоения властью. Неужели здравый смысл и воля к работе остались у меня одного? Такой вариант предполагался с самой малой долей вероятности, но вот на тебе! Лотерея в обратную сторону! А если и у меня откажет котелок – мозги-то все время плавают на грани перегрева от охватившего двуногих животных букета невиданных эпидемий психопатии, парализации воли, беспричинной трусости и столь же беспричинно-бесславной храбрости и махровой в своей полусгнившей от срока давности всеобщей анархии! Ну, скажем, котелок у меня не откажет – он крепкий, но если вся эта, переставшая быть людской, масса не выздоровеет и

не вернет себе человеческий облик, пока я сам в одиночку выволоку проект, все гуманитарные достижения для человечества, превратившегося в мычащую кашу, будут не нужны, а лично меня так и вообще беспокоил только один пункт программы открытий – чистота эксперимента. Если все произойдет по изложенному бесплодному прогнозу, вот уж действительно наслажусь в полной мере стерильной чистотой, погубившей интеллектуальным перегревом неготовые к не таким уж серьезным перегрузкам коробочки мозгов и механизмов! Уж это предусмотреть и заранее принять меры по борьбе с эпидемией ничего не стоило. Проклятье! Я и сам такой же гнилой гуманитарий, с пол-оборота забывающий о дисциплине и непроизвольно-неконтролируемым сознанием впадающий в омут бессмысленной, а в данных обстоятельствах просто самоубийственной лирики. Однако умирать я не собираюсь – при всех моих откровенных недостатках, присущих презренным гуманоидам, проклятых покойным калькулятором, я не камикадзе и имею одно, но очень важное отличие от многих коллег-собратьев – я не боюсь неведомого.

Мне, как всякому нормальному человеку, присущ страх, а в паре-другой сложных и плохо предсказуемых в развитии ситуаций чуть бывало случалось не охватывал гибельный ужас, но я усилием воли подавлял безумие и заставлял себя, дрожащего как осиновый кол (или осенний лист?) и посекундно сотрясаемого пароксизмами непреходящего напряжения, принимать относительно здравые и, во всяком случае, спасительные решения.

Теперь, наконец, заткнись, вдохновитель, и работай один и вообще сильное преобладание страха над остальными чувствами у гуманоидов еще может вернуть часть собратьев к полноценной жизни. Сейчас храбрость, беспричинно охватившая недоделанных лириков, будет отступать и начнет возвращаться здоровый страх, а я вовсе не единственный и не самый храбрый из нас, так что, надеюсь, часть коллег все же выздоровеет, а не перелетит в полной бессознательности в губительный мрак панического ужаса.

Однако, до фабулы еще очень далеко и представлены, да и то не полностью, всего три фундаментально-образующих персонажа-элемента.

Тэк-с! Теперь наскоро оглядимся назад на, усеянную словами, пачку листов рукописи, опухшую от лихорадочного перенапряжения, затерзавшего ее крахмальную в прошлом белизну главного вдохновителя и лучшего друга всякого своего читателя!

Осмотрели архив?! Ну, и как тебе, вася?

Тяжелый-тяжелый вздох в ответ не на шутку встревожено-взволнованному внутреннему голосу. И, через долгую, мучительную для беспокойного автора паузу (фамильярно и без улыбки):

– Сойдет, не менжуйся.

Славно для первого раза! Можно, стало быть, ваше сиятельство, пылить себе дальше с чистой совестью по воображаемому холодку и фатальному бездорожью.

#### Г л а в а П о В с е й В и д и м о с т и Ч е т в е р т а я.

Неужели? Неужели добрался не позволяющий себе утомляться, далеко, между прочим, не молодой автор до четвертого участника неуклюже, как старый автобус на узкой дачной дороге, разворачивающихся грандиозных событий? Нежно сообщаем всем нашим доброжелателям, что это будет участница. Еще одна. Да, уважаемые, женщина! У нас тут тебе не «Великолепная семерка» все же, при всей ее тематической американо-крутизне, а русская, надеемся, литература, традиционно и заслуженно славящаяся глубокими образами разнообразных представительниц прекрасно-слабого пола.

Стоп! Опять навязчивая измена, будто выпала ценная мелочь из влекомого нами по ухабистым колдобинам кузова любимой работы, не сильно упруго еще набитого ценностями и оттого опасно в нем не закрепленными общей притертостью. Да, нет – все на месте. Все равно



стоп. Лучше сейчас, пока на берегу, договориться о точном количестве участников автопробега. Мы уже, заметим, давно не на берегу, да и никаких ни берегов, ни краев здесь не видно, однако, предлагаем для сохранения традиции и поддержания ясности остановиться на привычной уху и глазу цифре «семь». Она и сама по себе цифра хорошая, счастливая и вообще красивая, а уж для количества участников вовсе идеальная в своей драматургической асимметрии. Столько подобрал доводов, а никто и не возражает, все молчат и ждут продолжения.

Она всегда была взрослой. Не подумайте чего плохого, типа, будто она уроженка почернелого кривого барака в Марьиной Роще, под завязку набитого отпетыми скользкими уголовниками и их равнодушными и жестокими к детям хриплыми марухами. Ничего даже близко подобного.

Семья жила в чудесно-надежном сталинском доме на улице (ну, какая разница?) на хорошей улице, в просторной и по-гайдаровски неизменно светлой квартире.

Папа считался каким-то высокопоставленным военным, но они с сестрой никогда не видели его в форме. Она, красивая, благородно-мышинная и нарядно-толстая всегда висела на собственном месте в лакированном дубовом шкафу с громадным, высоким и английски-глубоким зеркалом в центральной створке. Форма покидала шкаф только раз в году, когда переезжали в начале лета на дачу и возвращалась обратно на свое место, когда папа перевозил маму и девочек домой к близкому уже Первому сентябрю. Форму возили с собой на всякий случай, наверное, а может, так было положено по уставу, женская половина, точнее треть четвертых, семьи этим не интересовалась, а саму форму уважительно любила за ее объемную важность, внушительную респектабельную стабильность и некичливо-спокойное аристократическое превосходство перед всей многочисленной гражданской одеждой.

Папа являлся таким почетным генерал-лейтенантом, просто оттого, что преподавал в Академии (может Бронетанковой или ей подобной) будущим полководцам какую-то редкую дисциплино-науку и приходился чуть ли ни единственным на всю Европу специалистом по ней, чем вызывал одинаково сильное уважение и у званных курсантов, и у высшего партийного руководства, да и у всей военной Европы, скорее всего, потому что представители всяких, приезжавших в Москву делегаций, часто приходили к ним в гости в своих и по-своему внушительных чужой незнакомой важностью формах.

Девочки не любили долго сидеть с этими чопорными, прямыми, как доски, и с, не по-русски зализанными, прическами, гостями и почти сразу убегали в одну из своих комнат, и уже оттуда отдаленно слышали, как папа спокойно и ровно разговаривает с гостями на всех их языках, и, иногда, негромко и нераскатисто, но искренне, заразительно, долго и необидно смеется вопросам заграничных генералов, почему-то поголовно, несмотря на разные мундиры, похожих на гвоздей без шляпок.

Папа и сам часто куда-нибудь ездил и привозил девочкам из поездок до того волшебные-красивые, невиданные, драгоценные игрушки, что сестры не сразу могли поверить в их реальную взаимовыгодность, потом не могли поверить в неизмеримое счастье обладания такими чудесами, а дальше не сразу играть с ними свободно, неестественно не по-детски оберегая сокровища от маломальской царапины. Но проходило время, новые игрушки обретали собственные места, к ним привыкали, они становились родными, но зато теряли восхитительно-волнительные, приводящие глаза сестренки в сладостную дрожь, свойства бархатно-шелково мерцающей тайны. Однако, папа опять скоро куда-нибудь ехал и привозил новые игрушки еще лучше, в сто раз красивее и такого, никогда не виданного у нас цвета, от высшей-превысшей заграничности которого невозможно было отвести взгляд, а беленькие головы девочек, одинаково заплетенные в косички, сами по себе синхронно покачивались вправо-влево от завихряющихся в них потоков воздушно-легкого кружения.

Папины игрушки восторгали не только его дочерей, но и их, так же необиженных судьбой, подружек из соседних квартир и подъездов.

Маме генерал-штучной-выделки-лейтенант привозил из регулярных поездок ювелирно-драгоценные сувениры антисоветско-изящно уложенные в квадратные, продолговатые, круглые, звездообразные и всякие такие единично-своей формы футлярчики, обшито-обклеенные изнутри и снаружи толсто-густыми бархатами всегда разного, но неизменно неподдельно-глубокого цвета, только, кажется, и способного водиться в самых потайных и недоступных местах экзотических океанов. Мама, хоть и никогда не могла, увидев подарки, удержаться от легких критическо-иронических замечаний, порицающих слоновье-мужскую неточность супруга при выборе, на самом деле вовсе и не пыталась скрывать загорающийся внутри глаз, не обесцветившийся и не потерявший жгучей яркости от непрестанной устойчивости привычки, огонек удовольствия. Уголек этого огонька, впрочем, всегда тлел в каждом мамином глазу, готовый во всякое мгновение разгораться от любых подтверждений стабильной незыблемости постоянства вечного счастья.

Мама, кажется, никогда и никем в жизни не работала и такое, украшающее женщину, обстоятельство, сохраняло ей цветущий облик, всегда ровно-доброжелательное настроение общения и силы, силы для дома, мужа и дочерей. Дочери были почти одногодки – родились друг за другом и вторая, та, что понадобится нам в дальнейшем рассказе, была младшей по сути лишь номинально.

Всегда представлялось автору (и, ему казалось, большинству из тех, с кем он когда-нибудь говорил о братьях и сестрах), что старшие, пусть и не намного, дети получают первый безжалостный свинцовый заряд антидетско-взрослой информации с рождением младшего, и их детство, в зависимости от возраста осознанно или неосознанно, с этого момента начинает таять, может быть иногда и не быстро, но все легче и явственнее различимо меняются и уменьшаются еще вчера туго и навечно взбитые беспечно-горячим воздухом клубы разноцветного крема и оползают по краям, теперь уже или скоро сосчитываемых по пальцам, вот только что еще бесчисленных слоев торта жизни и их сладостная пропитка начинает сохнуть и испаряться.

Мы говорили про наше и наших знакомых общепринятое прошлое мнение, а после автор видел примеры, опровергающие его или совсем не имеющие отношения к только что описанной трактовке темы.

Короче, всего-то и хотели сказать, что старшие дети взрослеют быстрее младших и вообще менее веселы и беспечны, а младшие долго-предолго наслаждаются безответственностью, бесконтрольностью, безыдейностью и прочей приятной эксклюзивностью маленького, оставив большому сомнительную радость чести несения ранних обязанностей.

В генеральской семье с детьми ничего подобного описанному в предыдущем абзаце не происходило, как не происходило и ничего противоположного. У них все вышло по-своему. Девочки по взрослению и возрастанию просто влились в женскую составляющую дома, сложившиеся-устойчиво укомплектованную мамой и домработницей.

Папа, несмотря на множество подчиненных адъютантов, курсантов, шоферов, преподавателей и секретарей, никогда не стремился к чьему-нибудь из перечисленных возле себя постоянству. В отличие от мамы, заведшей себе навсегда одну верную наперсницу-домработницу, органически вросшую в дом и сросшуюся всеми корнями и ветками с семьей до гробовой неразрывности, папа неуклонно избегал предпочтений личностям подчиненных, пользуясь их, положенными по статусу, рабочими и бытовыми услугами исключительно как необходимыми функциями, при первом проблеске личного твердо и скоро меняя самих их человеконосителей. Элитарное положение в обществе и ответственный труд не позволяли ему обойтись без многофункциональной obsługi, но незапятнанная этика советского человека не допускала никакого неравенства, невзирая на любые исключения самых объективных предпосылок.

Феодальное приобретение мамой постоянной прислуги папой при всем том никак не комментировалось ни вслух, ни про себя. Он вообще не вникал в дела женщин по обустройству дома, хозяйства и тысяч еще бытовых (и вне) мелочей и крупностей. Не вникал не в силу наплевательской брутальности – мы уже говорили о его выставочной военной сущности, а от мужней тактичности и высокоцивилизованной понятливости к тонкостям сбережения хрупкостей драгоценной семейной атмосферы. Благодаря тем же высоким понятиям папы о правильном бытии, не было во всю жизнь у него никаких связей на стороне, ни тайных, ни тем более явных и никогда не оказывалась семья на грани раскола. Оттого и сам он, и все его женские домочадцы жили в миру и гармонии внутренней и внешней, и девочки до своего повзросления оставались надежно защищены от самой тени вредных впечатлений, способных и в микроскопических проявлениях оставлять рубцы, памятные впоследствии и пагубно искажающие восприятие и толкование образующих человеко-душу познаний.

Старшая сестра тоже всегда смотрелась взрослой. Обе, несмотря на папины аристократично-советские и высоко-демократичные манеры, привычки и поведение, с измальского малолетства хорошо осознавали свое в обществе особое положение. Сначала инстинктивно, видя, что они с мамой много лучше большинства одеты, да у них есть тетя Тоня, да и тетя Тоня тоже вполне прилично выглядит, одевается, ведет себя и разговаривает. Годы роста ступенчато добавляли к инстинктам осознание. Первым делом, высоко-дисциплинированные и внешне, и внутренне сестренки осознали ответственность. Только у каждой составились антиподно-отдельные свои: представление, взгляд, поведение и выбор. В целом, полярные, но по логике не наигранной, а полно-подлинной полярности они одинаково представляли себе цель той ответственности, но направления так разнились, что случались несколько-недельные максималистские недоразумения, вплоть до того, что они не разговаривали, но все же они были родные и единого воспитания и мирились.

Старшая классически защитила диплом и еще в процессе учебы встретила соответствующего ее семье и нравящегося ей жениха, вышла за него замуж и работала сейчас по желанию раз-другой в неделю-третью, рожала чудесных детей и в каком-то своем виде копировала в организации жизни маму и проживала к ней ближе в реальности, и чаще общалась, и не представляла себе более чем трех-четырёхчасовое состояние взаимного несозванивания и обоюдного с мамой отчета обо всех мелочах их высокоорганизованного быта.

Только хоть и приходилась старшая сестра маме ближе и родней и как бы иногда они вместе в неодобрительной тональности ни говорили об отклонениях младшей от генерально-семейной линии, оказалась младшая маме как-то острее-дороже и видела она в старшей родную, милую, но все же обычность, а в младшей присутствовали: сила, единственность и то, что выше всяких таланто-способностей, а именно нутряная, полная, естественная и бесстрашная цельность, притягательная высоко-животной бесстыдно-обезоруживающей приятностью. Их, таких приятных, мало – мама знала и гордилась своей дочкой, и не все до конца в ней понимала, кроме того, что старшая сестра ей ровень, а вот младшая выше. Все, кажется, дети любят командовать, некоторым взрослым это нравится, некоторым нет, наиболее понятливые стараются по возможности беспрекословно слушаться или хотя бы делать вид о том, пусть оно и бывает под час несколько тяжеловато и раздражительно, а наименее понятливые стремятся не просто взять верх власти над безобидным в своих постоянных важных распоряжениях маленьким, а еще и не устают декларативно заявлять ему на постоянной основе об его истинном незначительном пока в жизни положении.

В генеральской семье подобных идиотов, конечно, не водилось, но стремление младшей командовать как-то заметно выходило за тривиальные детские рамки и, хотя, никто ее не одергивал, да и не собирался никогда этого делать, обеспокоенные родители не совсем обычной девочки не раз обсуждали такую тревожащую их странную аномальность дочери и надеялись

со временем найти все же безболезненное и не травмирующее ребенка решение для преодоления вполне легкого, а, может, вообще всего лишь просто возрастного недуга.

Время, однако, показало, что они ошиблись.

Читатель! Если ты до сих пор не бросил просматривать наши беспорядочные записки, то, наверное, страшно приустал от затянувшегося до безобразия занудливо-добросовестного представления семерых основных персонажей, кои должны составить будущий каркасный рисунок сюжета, тем более, что никто и не гарантирует его безусловной для тебя занимательности. Однако взятые нами перед нами же обязательства подробной скрупулезности, не дают нам рвануть галопом в фабульную ширь, пахнущую степным разнотравьем, средне-полосным русским лесом, пампасами и льяносами, необъятными просторами континентов, аквамариново-зеленой глубиной океано-морских вод, чистым или хмурым небом и кирпично-асфальтными, бензиново-выхлопными, стекло-бетонными, зато, пронизанными миллионами электрически-энергетических игл воздуха серьезности в абсолютном многообразии, городами, где никакая, самая ничтожная жизнь не проходит даром-зря и всегда доставляет своему обладателю полноценные, в своем ужасе, эйфории или в трудно-добываемой и балансировочно-удерживаемой золотой середине счастья, эмоции.

Друг читатель! А ты никому ничем не обязан, тем более автору, использующему тебя в лично-корыстных громоотводных целях. Хочешь перелистни затяжные страницы представлений и сразу ныряй во всю глубину изощренного сюжета, а хочешь, захлопни, досадно-бесполезно отнимающую время, отвлекающую от (чего у тебя там?) и раздражающую остатки потрепанной нервной системы, книжку.

Автор же, верный литературным клятвам, остается на, не дающем ему соскучиться, передвижном блокпосту и не собирается ни при каких обстоятельствах пренебречь своими обязанностями до окончательной точки над последним и. Он лишь может пообещать стараться в общих интересах сократить до телеграфно-пунктирной сестры таланта описания оставшихся двух мужских и одного женского действующих лиц, чтобы побыстрее перейти к общепринятой форме беллетристики.

## Г л а в а П я т а я.

Незадолго до предполагаемых к описанию событий, пятому исполнилось тридцать три года. Сровнялось. Виделись ему в, не одним им любимой и фиксируемой, сдвоенности цифр графически-числительные образы этапных обозначений пройденных или предстоящих периодов. Так он о себе и думал – не оставшихся там позади или прожитых, а пройденных им. Он твердо, без рефлексирующих сомнений, уверенно знал, что вышел выше и лучше большинства человечества и умом, и знаниями, и красотой, и ростом, и физической силой, и самим происхождением, счастливо и объемно сложившимся.

Простите, уважаемые, за «вышел выше», но это небольшая иллюстрация к ценимому номером пятым стилю письма и выражений и вообще чего-то в общем не простого-обычного, а изощренного, вдумчивого, что несколько приоткрывает слабую искушенность пятого в гуманитарных пластах и наслоениях, о чем он даже не собирался догадываться.

Нынешние его товарищи, нужные в, затеянном им уже два года как, предприятии, много более обтесанные в тонкостях тех наслоений, обычно приходили в междусобойно-отдельных обсуждениях «номера пятого» к выводу о полной того неискушенности. Междусобойно не по низменной скрытности, а по обстоятельствам и интересам в свое время и в своем месте буде нами, е.б.ж., описанными. Свои самые крайние мнения и выводы эти товарищи запросто могли в столь же радикальных формах высказывать в лицо и ему, и друг другу, благо у всех троих головы были набиты не только бессистемно набранными ценностями, а еще и стогами

соломы и сена и горами мусора, в которых вязли самые ядовито-смертельно-острые оскорбления самодеятельной полемики. Все трое намного больше любили спорить, орать, бегать и жестикулировать, чем трудиться и думать. В любых, легко бросаемых друг другу страшных обвинениях и в нехороших выражениях пришиваемых определениях ничего не находили они кроме повода для попыток проявления достойной словесной находчивости. Удачные попытки искренне приветствовались всеми усиленно-диспутирующими интеллектуалами, а неудачные, если не оказывались смешными, не брались ни в какой расчет с полно-беспечным наплева-тельством и сразу бесследно таяли в хаосе нагромождения разговоров, да и внимание троицы переключалось с предмета на предмет с такой бездумно-парадоксальной скоростью, что самые поводы к острым репликам сами себя в других опровергали. В целом, каждый из них был доволен собой и остальными и вся компания сама себя любила и находила большое удовольствие и веселье в собственном составе. Друзьями они себя принципиально-расчетливо не считали, чтобы никто никому ничем не был обязан, да и любой из троих по разным предпосылкам знал о себе, что он, такой выдающийся, на всем белом свете один и не чета остальным двум, получившим всего лишь временный билет на право входа в закрытый клуб спутников по сегодняшнему, не определенному пока в длине и широте отрезку, для по мере возможного избегновения на нем одуряюще-безпейзажной пустоты, депрессивно-неотшелушивающейся скуки, а то и уныло-гибельно-внятной в безбрежной безудержности тоски, справедливо-диалектически присущей иногда не в меру нервно-развитым и произвольно-перефилософствовавшим натурам в сизифовых поисках, подобающего им по способностям, места и, соответствующего амбициям, жизненного положения.

Впрочем, нам с вами, читатель, вообще не нужна эта компания, заранее жестоко-обремененная стройной логикой поступательных развитий и законами возвратных отдач на непреодолимо-косвенное всего только участие в пунктах толстеющего людьми и событиями сценария длительных феерий многоцветного праздника, разворачивающейся во всю гладь и высь обширной нашей повести. Слегка задержались мы в подробностях описания ее особо окрашенных отдельно-банальностей по уже не раз дружно порицаемой выше нами и вами дурной привычке к подробно-честной скрупулезности и старомодно-прилипчивой тяге к никому уже, как и нам давно, не нужной обще-вникновенности, но вынужденно-присутствующей хотя бы лишь для подтверждения цеховых прав и ремесленной порядочности литературного работника.

В небольшое оправдание нашего малопрактичного почтения к атавизмо-обычаям отечественной (да и не только) письменности заметим все же не полную лишность легкой обрисовки элементов сферо-ауры проживания нужного нам номера пятого в нужном нам пространственном времени, объективно заданном для совместных наших с вами невиданных доселе многоступенчатых опытов в специально ограниченном анклав-вакууме.

Эй, отцы-полководцы, соберись с мыслями! Где мы там позабыли полноправного нашего пятого? В дебрях путанных оправданий, коллеги, да в непролазных болотах лирических, лингвистических, фразеологических и прочих отступлений от правил. Между тем, речь у нас тогда зашла о «вышел выше» и безобидное созвучие своротило с единственно-верной дороги все наши колонно-стройные кадровые порядки и раскидало их как попало, неорганизованно-разночисленными группами, по ненадежным анархистским тропам авосьной партизанщины.

Стало быть, пятый наш твердо знал, что вышел выше и лучше большинства человечества. Умом, знаниями, красотой, ростом, обаянием, физической силой и самим, счастливо и объемно сложившимся происхождением. Счастливо сложившимся не означало в его случае идиллической безоблачности, а совсем наоборот, на едва начавшую осознавать себя личность почти младенца и его до эфемерности тонкослойную психику обрушились недопустимо-тяжеловесные в отчаянной откровенности сведения и опыты, неожиданно вспыхнувшей и мгно-

венно неугасимо-широко разгоревшейся под свирепыми ветрами непримиримых противоречий, семейной войны.

Подробности тех давних, только внешне не кровопролитных, событий пусть живут лишь в мемуарной памяти извлекавших из них уроки пользы и практические выгоды участников и их, оставшихся безымущественными инвалидами, неудачливых оппонентов. Взорвавшаяся гражданской войной семья являла собой до катастрофы многочисленный, но очень молодой, не успевший окрепнуть клан, совсем недавно, в первом, втором только поколении рожденный из случайного слияния двух полярно противоположных представлениями и понятиями ветвей: кадрово-наследственной номенклатуры и врожденно-потомственной торговой династии.

Торговая династия издавна инстинктивно и копимо-прибавляемо по крупицам в поколениях обладала в каждой своей особи умением, обратившимся уже в мастерство, невыкорчевываемо-крепко стоять на земле, не брать чужого за гранью опасно обидного, не разбазаривать, а помалу, но неуклонно приумножать свое, а если и отдавать или делиться кровным, то лишь по разумному, неизбежному компромиссу выживательного инстинкта, лишь с равными или более сильными, чтобы избежать чреватых непоправимым уроном столкновений. Слабым же не давать крепнуть, не давать им объединяться без всяких, ложно-совестливых и опасно-враждебных жизнеобразующему делу, человеколюбивых уступок. Вовремя разгадывать их коварные замыслы, и безжалостно, вплоть до уничтожения, разрушать ухитрившиеся объединиться скрытые альянсы, последовательно не выпуская за площади системных ударов ни одного, пусть самого жалкого и хилого противника, пока в нем остается хоть бледный намек на мизерную опасность.

Другая породнившаяся ветвь, из высокопоставленных государственных управленцев, являлась в подлинной сути рыцарским родом, где, невзирая на преобладающе-красный цвет, большевистский антураж зарождения и развития и декорации рабоче-крестьянского государства, фундаментально-каркасные, крепящие и несущие узлы и опоры ничем не отличались от основополагающих ранне-средневековых составляющих дворянской фамилии-обладательницы личного, овейного славой и обильно-честно смоченного благородной кровью, символического герба.

Сколько точно ему было лет, когда они остались жить вдвоем с матерью, за истечением срока давности не имеет для нас принципиального значения. Почти сразу после столбовой этой эпохальной вехи, во всяком случае, в прилегающие к ней год-два, он начал заниматься водным поло, серьезным, тяжелым спортом, требующим от спортсмена полной отдачи, больших и продолжительных тренировочных нагрузок, концентрированного и практически постоянного физического и морального волевого напряжения. Утомительный, по-настоящему тяжелый спорт, наделяющий в дальнейшем последствии своих приверженцев в награду за трудовую верность, навсегда железной волей, стальными мышцами, неубывающей силой, каменно-прочным и вечным здоровьем и в придачу бонусом, естественно сложившимся благодаря перечисленным приобретениям, а именно: неизбывной твердой уверенностью в себе, своей полноценности и органично развитой личности, обладающей неиссякаемым запасом всесторонних ресурсов для преодоления любых по степени сложностей и достижения всякой, заданной себе, высокотрудной цели.

Он начинал ходить на тренировки, не придавая им большого значения, по мальчишечьей инерции с одноклассниками и дворовыми друзьями. Однако все они по мере возраставшей серьезности и постепенного появления других интересов покидали команду и из всех, когда-то вместе сюда пришедших, он остался один, из чего тут же автоматически составилась у него в сознании символический, лестный о себе вывод. Привычка к таким фиксирующим выводам-формулам, неизменно поддерживающая культивируемый им, так называемый комплекс полноценности, появилась у него то ли незадолго до этого случая, то ли сразу после. Особенно нравилось ему и тоже приплюсовано занесено в реестр, что он не прилагает усилий к поиско-

вому обдумыванию данных формул, а просто безотказно и бесшумно срабатывает программа, самостоятельно в нем и сложившаяся, и выдает вечно занятому хозяину только готовый результат, а потом так же корректно убирает его в, нелезущие на глаза, хранилища. Счастливая эта особенность его мозга сохраняла в нетронутном виде его нервы и позволяла практически всегда пребывать в бездумном, беззаботном и веселом расположении духа, включаясь в проблемы, предлагаемые иногда действительностью, лишь по сущей необходимости и на ровно нужное время. Он не любил и не желал ни на что, кроме водного поло, до поры до времени замораживаться. При этом мозг его не дремал и регулярно хватко цеплял и обрабатывал потоки нужной и ненужной информации с помощью уникально-волшебной программы.

Развод матери с отцом никак не лишил пятого общения с последним, с годами, по мере взросления, становившимся все более для мальчишки, а затем и подростка, выгоднее. Папа стабильно покупал ему редкую одежду, привозил подарки из-за границы, давал, не торгуясь и никогда не выясняя на что, деньги. На четырнадцатый день рождения папа подарил ему роскошный и необыкновенно-красивый желто-зеленый японский мотоцикл «кавасаки» и он ощутил себя просто счастливым сказочным принцем, тем более, вокруг него были постоянные тому многочисленные подтверждения. Среди мальчиков, например, либо молчаливая, но не могущая остаться тайной, зависть, либо открытое соперничество, украшенное грубыми мужскими обоюдными шутками. Но где же им стало возможным бы с ним тягаться! В одежде и обладании бесчисленными заграничными мелочами его и не пытались догнать, а в лучшем случае самый из всех оборотистый мог раздобыть с помощью целой серии хитроумных комбинаций бэушный мотоцикл, да и то с ним приходилось регулярно возиться, скручивая, откручивая и снова прикручивая, прогоркло пахнущие не новой техникой и пачкающие руки маслом, соли-долом и еще чем-то серым, детали. А «кавасаки» никогда не ломался, даже по мелочам, и всегда сохранял свою нарядную респектабельность, несмотря на самые дикие приключения юного хозяина и вопреки его крайне неделикатному отношению к своему двухколесному имуществу. Пятый любил ездить, но любил не мотоцикл, а то обстоятельство, что он у него имелся. Он не собирался замораживаться из-за, пусть дорогого и красивого, но всего лишь куска железа. Молчаливые мальчишки, не умеющие радоваться счастьем товарища, только скрытно скрипели зубами от бессилия перед полным его превосходством, дополнявшемся безотказной постоянной возможностью для всех желающих кататься на «кавасаки» сколько и куда вздумается, что все равно никак не влияло на внешний вид и ездовые качества чудо-машины. Сам он катался все реже, только если просили покатать, не скрывавшие восхищения, девочки. Скоро мотоцикл и вовсе ему надоел, и сильно захотелось машину. Он оказался не байкер, и лично-уникальная программа зафиксировала это отдельным пунктом. Правда, приобретенные виртуозные навыки езды он не терял и, если случались неизбежные соревновательные случаи, где нельзя было уступать, соперничать с ним получалось бесполезно. Он вообще-то не любил ни в чем проигрывать и никогда практически не проигрывал, наделенный щедрой природой помимо остальных блестящих достоинств еще и удачливостью, но если бы вдруг и проиграл, не заморочился бы ни на секунду. Так он от рождения оказался счастливо устроен.

И с отцом и с матерью у него сложились ровные, бесконфликтные отношения, да и собственно он не доставлял им ни беспокойств, ни неприятностей, никогда не напивался на подростковых вечеринках, не попадал в некрасивые истории с девочками и не держалось у него от родителей тайн, и курить он начал открыто, впрочем, совсем немного и редко. Он даже сумел, не прилагая никаких усилий, помирить между собой своих родителей и они, после стольких лет холода, стали общаться, простили и позабыли давние обиды и крепко по-человечески подружились, а безотказная программа зафиксировала еще один, необычайный для других, но не для него случай.

Несмотря на отсутствие поводов для родительских нареканий, он совсем не оставался домашним ребенком и с удовольствием изобретательно-действенно участвовал в многочислен-

ных дворовых, в том числе и полукриминальных, приключениях и развлечениях, да и вообще любил проводить время со своей компанией просто бесцельно посиживая во дворе и никто никогда не увидел от него даже тени намека на значительное социальное неравенство. Он умел дружить, а благополучие сделало его щедрым.

Как-то во двор заехал его респектабельный папа и, выйдя из машины, демократично сам подошел к бездельничающей компании и даже поздоровался с ближайше-сидящими за руку. Перекинувшись парой незначительных фраз со знакомыми пацанами, которых встречал в доме сына, папа спросил где «кавасаки». Сын спокойно ответил, что продал его, потому что срочно понадобились деньги, у мамы не нашлось, а папа оказался в этот критический момент в очередной командировке. Папа спросил на что потребовались деньги. Оказалось на какую-то помпезную и дорогую вечеринку, практически всю оплаченную его сыном-подростком. Папа задал еще один вопрос о сумме, вырученной за мотоцикл, и, получив ответ, по настоящему вдруг сам себе удивился. Ну, ладно он не сердился, но не возникло в нем и никакой досады и глубоко оказалось наплевать на «кавасаки», хоть он и пытался сказать себе, что это непедagogично, но о какой педагогике могла идти речь, когда перед ним сидел со своими друзьями и даже не всегда смотрел в его сторону совершенно самостоятельный и очень, до гордости, нравящийся ему красавец-сын. «Кавасаки» остался сразу забыт навсегда и неслабохарактерный папа вместо хотя бы формального порицания подросткового своеволия, да еще оплаты сомнительной и слишком роскошной для подростков вечеринки, в тот же день принялся обсуждать с сыном детали скорейшей посадки того за руль собственной машины, чем привел парня в восторг, а себя в умилительно-расстроганное состояние счастливого члена именно этой семьи, где его любили и не за подарки, хоть и неподдельно им всегда радовались, а просто все они трое удались одной и той же, крепкой, здоровой и цепкой породы и их, укоренившееся вдруг с годами родство оказалось естественным и до чего же приятно они, забыв о времени, втроем бесцельно посиживали и не то чтобы беседовали, но и не молчали, и все выражало установившуюся, наконец, нерушимо гармонию, принадлежавшего всем им общего счастья. Изредка все же ответственного папу слегка укалывала каким-то образом застрявшая мысль о непедagogичности, но он неуклонно отгонял ее, назойливую и неуместную, и вскоре она исчезла и с тех пор уже никогда не вернулась за ненадобностью.

Наш пятый к моменту этих знаменательных посиделок уже оставил навсегда водное поло, здраво рассудив, что они со спортом в расчете, а становиться профессиональным ватерполистом он не желал, справедливо и на фактах размышляя, что подлинного успеха добиваются единицы, кладя на жертвенник достижений живот, безо всякого переносного смысла. Основная же масса вяло телепается в середнячках всю свою спортивную жизнь и, как правило, при уходе из спорта, и те, и другие остаются без здоровья и денег, без семьи и друзей и лишь самые счастливчики ухитряются получить тренерскую работу, тоже не слишком обычно благодарную.

Не желая себе такой обреченно-унылой судьбы и с легким сердцем оставив спорт, он вдруг сделался непривычно свободен и не сразу привык к новому вольному режиму без жестких рамок часов и минут, зато, привыкнув, с таким полным удовольствием оценил всю его прелесть, что теперь и под расстрелом не заставил бы себя вернуться к постылому расписанию.

Вскоре папа купил ему машину, совсем простую пока, пояснительно оговорившись, что это на год для учебы и привыкания. Пятый не впадал в претензии, сразу полюбил и такую, просто за то, что она своя и весь последний школьный год уже проездил на ней, получив через папиных знакомых юношеские права. Неказистая машина нравилась ему в сто раз больше роскошного мотоцикла. В нее набивались, как в гости, друзья и подружки, там играла музыка и не шел дождь, а развлекать себя экстремальной ездой и захватывающими водительскими фокусами в машине получалось ничуть не менее увлекательно, чем на мощном «кавасаки». Машина, никак для того не предназначенная, носилась на немыслимых скоростях по не слишком ровным полям, скатывалась с лестниц и так же безотказно закатывалась на них, прыгала с



метровых парпетов, без комплексов соревновалась на трассах с любыми иностранными многоглазыми монстрами, а пару раз вообще героически уходила от погони разъяренных гаишников, не решившихся, однако, вихляться по кривым переулкам на предложенной скорости и не скидывать газ на виражах поворотов в немыслимо узкие арки, в которые и на тихой-то скорости желательно всем въезжать осторожно. Никаким боком не соприкасаясь родством со своим японским предшественником, машина унаследовала главное его качество переносить любые потрясения без последствий, что и с «кавасаки»-то при некоторых особых случаях вызывало изумление, а уж с этой машиной было просто чудом, но счастливый ее владелец не сильно удивлялся, он же знал, что везунчик. Ее наш пятый уже не давал беспечно всем подряд кататься не оттого, что испортился характер, а оттого, что это была настоящая машина, а не легкомысленный мотоцикл. И любил он ее соответственно больше и никогда бы не продал за треть цены ради какой-то сомнительной вечеринки. Впрочем, он, по своему обыкновению ни на чем этом не заморачивался, а так себе фиксировал и, в целом, машина представлялась ему таким же куском железа, как мотоцикл.

Между тем, школа подходила к концу, а к осени ему исполнялось восемнадцать, но он никак не мог выбрать институт, испытывая ко всем возможным вариантам одинаковое отвращение. Он заглянул, просто чтобы присмотреться, в несколько творческих и технических институтов, заезжал в МГУ и МГИМО и вдруг, наверное, впервые в жизни почувствовал себя абсолютно несчастным от мрачной неизбежной перспективы идти в любой из них; все они без разницы показались для него убого-одинаковыми, и ни один не стоил сомнительного удовольствия ежедневного посещения, тем более он даже туманно не представлял себе, кем бы ему захотелось стать. Пробивалась, правда, одна, все время ускользающая мысль, до того абстрактная, что он даже не мог ухватить ее за кончик, чтобы выволочь на свет и рассмотреть как следует. Ему чудился какой-то гибрид, но вот именно только его он и хотел себе в профессию и ради этого сюрреалистического по тем временам чудища даже ходил бы, наверное, в какой-нибудь неведомый институт.

Для себя он называл порождение своей фантазии – творческий бизнесмен, но дальше того его всегда изошренная мыслительная система соображать отказывалась, а он и примерно не представлял круг профессиональных действий своего тяти-толкая и есть ли что-нибудь на него похожее в предлагаемо-обозримой и доступной сети многочисленных и все более ненавистных ВУЗов, ВТУЗов и прочих, бессмысленных и жалких, заведений.

Однако неумолимо приближалось крайнее время выбора, необходимо становилось на что-нибудь решаться, альтернативой отказа от поступления могла стать только армия, к которой он испытывал еще большее отвращение, прямо содрогание, чем к унылым институтам с их погаными обшарпанными аудиториями, линолеумным полом кишкообразных коридоров, зачетками и прочей не вдохновляющей атрибутикой.

От непривычного количества переживаний у него началась почти депрессия, дни скакали с бешеным мельканием ускоренной перемотки, а ему одновременно отказали и здравый смысл, и железная воля, и присутствие духа и он бессмысленно катался по улицам, ни с кем не общался, не мог сосредоточиться ни на одной мысли, и, по сути, просто ожидал самой неприемлемой развязки и даже стал слегка пришепывать, сам не зная чего, вроде молился, но не был точно уверен, о чудесном спасении от навалившихся на него бесконечных ужасов.

Первый компромиссный вариант выхода нашел папа. Он велел ему немедленно подавать документы в первый попавшийся ВТУЗ, ВУЗ, что угодно и никогда туда более не заглядывать, а пока получить отсрочку от армии, отдышаться, осмотреться и после на досуге спокойно посоображать, что можно будет предпринять в дальнейшем будущем.

Папа, к счастью, давно уже подвизался в комсомольской, а не в партийной номенклатуре, в чьих семьях неухождение ребенка в армию приравнивалось чуть ли ни к аналогу позорного несчастья или соответствовавшей ему худой болезни и, в любом случае, не попавший в воору-

женные ряды юноша вызывал с тех пор стойко-брезгливое подозрение в неполноценности. Ну, а уж хлопоты по избавлению ребенка от воинской повинности приравнялись в партийной среде почти к предательству Родины и вообще не приветствовались чистоплюйские взгляды на армию, как на нечто чуждое и отдельное от партии. Наоборот навечно закрепленным оставался взгляд на армию как на один из самых родственных, почетных и полезных для подрастающего человека партийных филиалов. Конечно, далеко не все в той среде проживали такими упорными без страха и упрека бескорыстными рыцарями Ордена Боевого Красного Знамени, но у них там, по неписанным принципам партийной жизни, кроме непростых служебных отношений, со многими, никогда бы не понятыми посторонними, обязательными условностями, еще, по издавна сложившимся обычаям практически боевой организации и правилам партийной этики, существовали обязательные к исполнению особенности ну не быта, конечно, но общественного поведения семьи, а наравне и строго не рекомендуемые деяния. Да еще большинство родителей желало детям по наследству преемственности карьеры, а для нее тоже считалось серьезнейшим минусом непрохождение действительной военной службы.

Комсомол находился на много-много порядков ближе продвинут к обще-гуманистическим ценностям человечества и человечности, чем его суровая и косная старшая сестра – Партия. Среди комсомольцев царили свобода, веселье, цинизм, бодрость и молодость и никто не стеснялся своих подлинных взглядов и устремлений. Не публично, конечно, а среди своих. Своими приходились, правда, почти все поголовно, а перед партийными друг у друга понаучились и поналовчились так тонко мимикрировать и, с особым шикарным удовольствием, аранжировать бессовестные спектакли актерским куражом, что, потерявшие всякий нюх, суровые, но доверчивые старички в скромных костюмах, способны могли бы проследиться от счастья за страну, что не иссякла могучая на таких лихих, до печенок родных, смелых и бескорыстных молодцев.

Старички-коммунисты, сообщив их типичному представителю какой-нибудь доброжелатель разницу в цене его, прослужившего и провоевавшего всю жизнь большевика-идеалиста, костюма и костюма образцово-показательного юнца-агитатора, горланящего на докладе тут у него в кабинете прописные истины и энергично помогающего себе ударами кулака по воздуху – жестом подсмотренным в кино, для начала бы хохотнули антибуржуазной шутке, но когда постепенно жуткий правдивый смысл дошел бы до их сознания, то верных ленинцев, не умерших на месте от несочетаемости с изменившимся миром, охватило бы нечто такое, по сравнению с чем истерика нашего, не желающего нигде учиться, героя, показалась тогда безмятежно-счастливым бабочкино-колибриевым порханием. А так и не видно, не научившемуся за всю свою длинную серо-бурлящую жизнь различать костюмы, древнему хрычу ничего особенного. Видит он – пиджак и брюки не мятые, рубашка свежая, ботинки чищены – аккуратный молодой человек, приятно посмотреть. И тому приятно. Так и расстаются донельзя довольные друг другом.

Допотопно-иссохший дедушка все больше и глубже впадает в старческую медитацию непоследовательных воспоминаний и иногда только, опомнившись, махнет головой, отгоняя, как Одиссей мечом от ямы с кровью, тени, обступивших его, давно покойных товарищей, но тут же забудется и уже другие, не менее покойные товарищи роятся, роятся вокруг головы старца и не знает он, что с ними со всеми делать. Даже мемуары уже лет пять как написаны и изданы, а в этом кабинете он только штаны протирает, инструктируя итак все знающих аккуратных молодых комсомольских начальников. Здоровые мысли ненадолго отвлекают живую мумию от созерцания личной галереи. Много у него всегда имелось товарищей и все это оказывались верные, спокойные и надежные люди. Ни один из них не разбирался в костюмах, зная лишь куда его (свой единственный) обязательно надо надевать. В крайнем только случае, если попадал кто на дипломатическую или ей подобную работу, то дисциплинированно учился разбираться досконально в чем угодно – в костюмах и столовых приборах, этикете и винах,

языках и коммерции – лишь бы выполнять свои партийные обязанности добросовестно, споро и качественно. А вообще товарищи его отлично, до самых мелких тонкостей, разбирались во всяком оружии да боеприпасах, да картах боевых действий, да ведении этих действий, да запчастях, да тракторах, да турбинах, да механизмах, да еще в чем они только досконально не разбирались, он сейчас и не упомнит, и не желает ничего больше припоминать, а желает теперь лишь решить самый важный последний вопрос, что же делать с этими толпами мертвых ему одному живому? И вдруг находит не пугающий его и вообще не вызывающий эмоций, до того старик уже изжил сам себя, ответ. Это ему надо к ним туда, вот и будет правильно, и они, и он успокоятся.

Не все там, в партии, конечно, такие наивные, как отживший свое дедушка. Попадаются бывает ой какие проницательные и современные, неестественным при том образом, сохраняющие дедовские принципиальности и бессеребренничество. Такие не любят новых аккуратных молодых людей и не верят им и не дадут вывернуться, если за что ухватаются.

Бывают скандалы, вернее бывали. Комсомолыцы теперь ученые, бросили дурные купеческие замашки опасных публичных гулянок и бахвальства несоциалистическими достижениями, оставив себе в подмечаемой посторонними части жизни только костюмы, просто они в других уже ну никак ходить не могут – отвыкли и все тут. И вообще, костюм не «мерседес» – к нему особо не придерешься, а глазом пусть косит молодой коммунист, сам же и окосеет. Свободное время комсомолыцы тоже проводят не в пример ранешнему более культурно, но не менее весело, да и то сказать, ранее они вроде как вульгарно так воровали, а теперь все стали бизнесмены настоящие, просто не афишируют это перед всякими, застрявшими в прошлом, проницательными. А на их любовь-нелюбовь бизнесменам глубоко наплевать с высокой колокольни, вот лишь не понимают толком этих мрачных филинов, да и то мельком о таком подумают, дернут плечами, скорчат гримасу и забудут. Некогда теперь не по делу думать.

Так что молодой человек в роскошно-дорогом костюме, вернувшись к себе на работу, не идет, как еще бы совсем недавно сделал, развлекать приятелей, пересказывая в лицах аудиенцию у иссохшего дедушки. Он о нем уже забыл. Теперь у всех дела и у него не меньше, чем у других, а посмеяться найдут себе еще в другое время поводы. Жизнь впереди длинная.

Отец нашего пятого номера не уступал молодым людям ни в цинизме, ни в бодрости, зато оказался их постарше и оттого не в пример полезно-опытнее и дела у него вертелись куда посерьезнее, и связи всякие намного размашистее распространялись. Да многие из этих проходимцев, его нынешних коллег-юнцов, быстро забывших, что вчера еще босиком по помойкам бегали, являлись всего лишь энергичными выскочками, попавшими сюда благодаря невероятной пронырливости и благоприятному стечению обстоятельств, а он происходил из потомственного и знаменитого рода, созданного первыми большевиками и перешел сюда работать по впитанному с детства наитию, без которого бы его предки не сумели провести столько успешных эксов и финансировать победную революцию, а их потомки не выжили бы и не сохранили в целости семью в годы чисток и перетряхиваний, да еще удержались у власти и передали ее по наследству. Так и папа давно уже интуитивно чувствовал по разным внятным признакам, что грядет нечто неладное, но он никогда не делал шагов, могущих вдруг перекрыть возможность многоходового, в том числе и заднего, маневра. Нет, таких необдуманно-непросчитанных шагов, способных стать последними, он никогда не делал, не такое у него было воспитание. Он решил ни в коем случае еще тогда не оставаться на партийной работе, но вроде и не уходить из нее, и комсомол получался самым идеальным местом для тонкого и подстрахованного на любые случаи решения и, как подтвердило, быстро, как цунами, накатившее и намного страшнее самых смелых предположений оказавшееся, будущее, выбор в тот раз он сделал верный и своевременный.

Теперь отправив сына подавать документы, папа включился в серьезные размышления о возможных и только и признаваемых им способах универсального решения болезненного

затруднения. Да, не придал он ему должного значения – ошибся, но ему никак не могло прийти на ум, что сын с одинаковой неприязнью среагирует на все разнообразные варианты и чуть не загремит в совсем теперь ненужную армию. Партия только внешне сохраняла прежнюю гранитную мощь, а он уже видел, что доживает она последнее, отпущенное ей исчисляемое неполными месяцами времечко и не собирался запихивать в нее на погибель своего наследника. Ну и на кой хер теперь армия? Теперь, то есть уже скоро понадобятся молодым людям для карьеры совсем другие факты биографии. И папа, вынув из рабочего стола внушительный блокнот, присел к телефону и методично принялся обзванивать многочисленных знакомых для сбора информации и точного установления подробной картины устремлений серьезно готовящейся к будущему молодежи. Интуиция и здесь не подвела его, и уже с третьего звонка он нашел превосходный, изумительный, просто волшебный, идеальный вариант и сразу поехал искать своего, избегнувшего ненужной шинели, сына.

Когда, еще не совсем оправившийся от диких переживаний, номер пятый услышал папино предложение, он чуть не обалдел от непомерного счастья с тою же силой, как давеча от непомерного несчастья и никак не мог полностью осознать реальность чудесного варианта. А папа же, глядя на него, думал: «он же совсем еще маленький, восемнадцать лет, он детка и лицо у него круглое такое, по-детски бесформенное и ничего-то он толком не знает и не понимает, просто вымахал под два метра на своем водном поло, намахал там себе ручищи, а сам реагирует, что на огорчения, что на радости с такой искренней непосредственностью, будто ему не восемнадцать, а три года».

Даже как-то внутри у папы защемило от этих мыслей и от незащитности такого на вид богатыря, но он не подал виду и стал себя успокаивать тем, что и хорошо, и отлично, что ребенок, и спешить взрослеть нечего, уж это-то от него не уйдет, а пока пусть воспринимает мир таким вот непосредственным и открытым. Это же счастье! Счастье!

А еще папа подумал безо всякой грусти, что сам он, кажется, никогда не бывал вот таким, да и никаким непосредственным, и вырос в других условиях, и в армию пошел, зная, что для их семьи это обязательно, и как положено-рьяно служил там, осознавая, что он на виду, но и вне службы не мог позволить себе расслабиться в жестком мужском коллективе и остаться середнячком, его бы папа не прослезился от жалости, а искривился бы от презрения к трусости, и он никому не давал спуска и без сомнений вступал в рукопашную с любым соперником и лез так же как в формальные, так и в неформальные лидеры и понимал, что отец даже не похвалит его и вообще ничего не скажет, будто только так и могло быть, а сам останется доволен, что сын такой же, как он и как дедушка. А когда он вернулся из армии, то пошел без единого слова в тот институт, на который ему указала семья как на единственно возможный. Указали бы на другой, пошел бы в другой. Решили бы, что филфак, отправился бы на филфак, а на мехмат, так на мехмат, а лучше всего на юрфак, причем и там, и там, и там одинаково бы добросовестно учился, ну не на одних, может, пятерки, это оказалось бы уже слишком, но родители спокойно могли не сомневаться, что у него нет ни хвостов, ни троек. Да, он воспитывался настоящим партийным ребенком и знал, что такое дисциплина и осознавал ее одной из главных семейных ценностей.

И вот подрос его сын, а он не хочет, чтобы он шел в армию, чтобы там колготился в грубом и примитивном обществе, чтобы бился в кровь чуть не каждый день, защищаясь от постоянных посягновений то на свою честь, то на свое имущество, а то и от с виду беспричинной, но отчего-то лютой агрессии, москвичей в армии, да и нигде не любят, или просто морда уж больно на их взгляд интеллигентная. Тьфу! Ну и зачем ему эти опыты? Может писателем станет, будет ему колоритный материал, набитый под завязку народной фактурой. Да таких книг миллион и еще столько же напишут, пусть лучше у других читает.

Папа вдруг остановил поток антиармейских аргументов и понял, что они с сыном давно уже сидят молча, и размышляют каждый о своем, и оба себя неестественно не чувствуют, а могут так и часами продолжать сидеть вместе и молчать. Хорошо!

Вариант, интуитивно изысканный непотопляемым отцом впавшего в болезнетворное уныние обаятельного недоросля, состоял в предложении тому самым незамедлительным образом собирать накопленные стараниями родителя драгоценные манатки и расколотые стрессом первого столкновения с беспощадной отечественной действительностью нерво-силы, и выезжать на три года в Соединенные Штаты для всеобъемлющего изучения курса английского языка в естественной среде непосредственного обитания природных носителей. Полувысше-образовательные семестры знаменитого университета предусматривали в программе и другие дисциплины, но на усмотрение курсанта, оставляя его в праве и полного отказа от учебы всех прочих предметов за исключением языка.

Сказочное превращение мрачно-безнадежного положения в полярно-противоположное восхитительно-всеустраивающее, и, обещавшее еще к себе приятно-волнительное оформление коллекциями безграничных впечатлений, целебно возродило юношу, чудодейно вернуло прежнюю самоуверенность и цельность и заново раздуло чуть было не погасший огонь честолюбивых мечтаний о неясно-туманно желаемой деятельности творческого бизнесмена. Несомненно-необходимые первые шаги к будущей профессии естественно проходили по полю полноценного англо-языкового овладения, и номер пятый без сожаления доживал сладкие остатки детства на гулко-гранитной, монотонно-серой с выцветающей красной искрой, то пресно-суровой, то истерично-возвышенной, но всегда наивно-однобокой в угловатом идеализме, густо засыпаемой угарными пеплами нескончаемо-начинающихся перемен, покидаемой Родине, нетерпеливо-возбужденно подгоняя медленно сокращавшееся время до лелеемого дня восхитительного переезда в чарующую страну янки.

Ну-с, мои распотеннейшие? Завершим тут, всестепеннейшие соратники, наши упражнения в неприкладной околонучной археологии рассмотрения раскопа ранних облого-формообразующих пластов психичности образа номера пятого и, сопутствующих процессам роста обстоятельств? Завершим. Сами спросили, сами себе ответили. Риторика энд софистика. Сервис самообслуживания. Гарантии неограниченны. Под единоличную мою ответственность.

Обстоятельства так навсегда и оставим в прошедшем времени, а психичность образа облого оставим до поры до времени, вежливою невидимкою затесавшись в группу провожающих ее обладателя в составе с непотопляемым папою, оставшейся за ненадобностью в тени мамою и, разметенными впоследствии по бандам, банкам и кладбищам до его возвращения, друзьями зари юности, во Второе Шереметьево на борт межатлантического боинга. Сообщим только в завершение темы, что проведет он на чужом континенте вместо предполагаемых трех, восемь лет.

Что касается Нового континента, мы и вовсе опустим всякие его очерки за рамки пергамента, мужественно отринув искушение стилизнуться под великую американскую литературу и великодушно пренебрегши в интересах читателя соблазнительной возможностью описания великих равнин и больших каньонов, гор, озер, лесов и водопадов, и, манящих богатством и всецветной калейдоскопичностью, гигантских и разных городов от восточного до западного побережий. А могли бы, ох могли б с традиционно-дубиношной наследственной силушкой размахнуться во вневизовом приобщении к соперникам, да не гоже ныне баловство к светлому нашему лицу принципиальных почвенников. Староверов, можно сказать, станичников, верных твердой присяге замысла.

Лирическое резюме-отступление-послесловие к соседствующим представлениям четвертого и пятого номеров визсписка пула участников, избранных для нашей не «на край ножи»-книги-экспедиции.

Мы и сами не заметили, виртуозно лавируя, оснащенные полным техническим вооружением, среди чужих и собственных строк великим марадано-футболистом среди обычных или гладиатором среди евнухов по гораздо более красочному сравнению нашего американского коллеги-брата Джека Лондона, приписавшего его выдумке-гению (бескомпромиссно-логически и безвозвратно-отравляюще глаза-открывающему выбившемуся в писатели бывшему, казалось, обреченно-навек моряку, консервщику, ковбою и жалко-матерому бойцу убогих танцевальных вечеринок с бедными и недалекими девчонками) поэту Бриссендену, другу-самоубийце джековского же полуавтобиографического героя-изобретения Мартина Идена, вызывавшего нашу неподдельно-искреннюю любовь в малоискушенном детстве и сподвигшему тогда еще к писательскому выбору, а днесь для нас, уже прожженных, чередующимися зебро-фото-негативно-полосной раскраской, опытами успехов и неудач, представляющийся полупочтеннейшим образцом дурно-святой наивности.

А что же Вы заметили? То есть не заметили? Забыли уже, наверное? Нет, не забыли! Позже. Вернемся пока к Мартину.

Больно уж прост, однолинеен, одноизвилиен и неподготовлен, сколько бы ни прочел, ни сообразил (в том числе и с вышеуказанной помощью друга Бриссендена, алкаша-аристократа) и не написал, оказался Иден в нескончаемо-расширяющемся и бесконечно-бесформенно увеличивающемся столкновении с подлейшим, рысучим и свирепым, гибельно-враждебным ему, честному, великому и художественному, мелко-пошлым, закоснело-упертым и, как указывали советские предисловщики-комментаторы, буржуазным миром и его не менее буржуазной действительностью.

Французский кинокритик прошлого века Андре Базен во вступлении к своей единственной книге «Что такое кино?» пишет (за точность цитаты не ручаемся, но за смысл стопудово): «Кто является основным потребителем кинопродукции? Основным потребителем кинопродукции является мелкий буржуа. Какие общественные группы и социальные слои входят в это определение? Сюда входят: торговцы и чиновники, рыбаки и дипломаты, домовладельцы и фотографы, эмигранты и школьники, студенты и рабочие, учителя и таксисты, спортсмены и домохозяйки, моряки и газетчики, нотариусы и беловшивейки, актеры и булочники, инженеры и епископы, писатели и тюремщики, электрики и скульпторы и все остальные, а так же крупные буржуа».

Древний многослойный галльский интеллект не в пример подростковому американскому, без лишних сопливых эмоций, с ученой отчетливостью, по французскому обыкновению не удержавшись по ходу от развлечения себя и читателя ироничным узором стилистически-смысловой завитушки, смело и строго стер издавна бытующий в сознании доверчивых обывателей навязчивый и фальшивый постулат, от недоношено-недообразованных недоумков-мыслителей, косного лжепоребрика разделения мира на буржуазный и не.

Тут мы никак не хотели задеть умственной чести советских толкователей, но советские представления и выводы, советский мир, советский человек и вообще все советское явилось парадоксальным, уникальным и, увы, экспериментально-временным вычурным исключением из обще-грустного тривиального правила банального формостроения и постного проживания серого человечества, да и то большей частью в идеале, чем наяву.

Респект Андре! Респект, прошу прощения, – выражение, используемое некими суть пластами эффектной прослойки продвинутых, в качестве одобрения, типа восхищения. Всегда плюющий на реалии романтический автор воображал «респект» порождением молодежной бестолковости ближайших последних лет последовательного понятийно-речевого хаоса. Вроде

тупой, почти повсеместной манеры произносить телефонное слово «звонит» и его производные с безобразным ударением на «о» или уродовать нормальность слова «езжай» неслышанно-быдловским звуком «ехай», обладающим способностью при выпускании произвести на его произнесшего лихой эффект ликующего куражу и у сиплого смельчака от удалства крепко сшитой могучей кривизны родной до крокодилово-святых слез речи озорно розовеют мятежно трепещущие щеки, непреодолимо выбиваются на мокрый лоб из под редко снимаемой шапки русые колечки, разъезжаются чистые безо всякого мытья глаза по немислимым траекториям обзора необъятности исконных просторов, широко становится на душе и в теле, заскоружные ладони, в никогда не стиравшихся рукавицах, в убыстряющемся темпе гулко хлопают по всему, не боящемуся никаких насекомых, всевыносящему туловищу, а железные ножищи со ступнями в домотканых портянках коряво, но крепко выбивают по вечной мерзлоте Отечества самонавалянными валенками частотную дробь-притопку комаринского восторга хитростью дожившего до свободы владельца и евойного до самых всех запахов племени от волшебного оборота молчаливо-кручинной прибитости на выстраданное, векожданное, размашистое право заслуженно-теперь-всегдашнего удалого коверканья занудливых предписаний гнилой, чужой, хилой, захребетной, лживой, паразитной интеллигенции, еще и подозрительной по составу крови и мыслей.

Здесь литературно-безукоризненной честности неукротимый автор желает решительно заявить терпеливо-покладистому любезному читателю головокружительно-звонкое признание авантюриста, что жизнь он прожил по преимуществу далеко не интеллигентную. Вышло так по совокупности причин, ждущих еще подробного толковища-рассмотрения. Не пугайся, брудружище, не сейчас и не здесь, да и обещанный к полному рассмотрению, полезному распределению и величественному осмыслению воз, за который мы хвастливо ухватились, проехал несопоставимое титаническим надрывным усилием, практически незаметное от удручающей микроскопичности достижений расстояние. Самое себя мы нарочно не перечитываем, страусинно надеясь, что допускаем в самобичевании художественно-поэтический элемент того иваногрозного самоуничтожения, что паче гордости и кое-что обсудили все же худо-бедно на просторах оставшихся позади страниц и в повестке обязательных, в неустанно-декларируемом величественном смысле заданного труда и пунктов преодолеваемого пути добросовестно-всесторонне-честно сократили один-другой, а то и третий параграфы. Не о нас, впрочем, и не о наших кручинных сетованиях на режущие бурлацкие лямки исполнения звездных посулов речь. Видим мы наметанным незамыленным глазом, что, несмотря на отработанные параграфы, отошли от старта и оттащили сопутствующий ослепительным целям груз на шаг всего, да хоть на десять, а до неведомо-невидимого желанного финиша несосчитываемые в ближайшей перспективе тысячи тысяч шагов по скользким, безбрежно и бесконечно друг в друга перетекающим полям-площадям отчаянного маршрута принципиального одиночки по метафизическим в дву, а то и болееесмысленных противоречивых вариантах продвижения по бесстыдно-приблизительной карте запутанных лабиринтов со смертельными ловушками.

Жизнь, стало быть, ваш бездубликатный и уже от одного того неунывающий поводыр-путеводитель-предводитель прожил сильно неинтеллигентную, а (о, ужас!) местами и (нелицемерно каюсь) антиинтеллигентную. Объяснить смысловые подробности вышесказанного отказывается перо – золотая наградная рапира и почетное, и действующее родовое оружие столбовой интеллигенции и без атавизма обязательств крови столетиями уже знающее сословный кодекс, в литой однозначности очертивший единый праведный путь и совместную безмездно-бессеребренническую миссию бескорыстных братьев и сестер ордена, чтящих все его незыблемо-святые положения и без предательских надежд на лазейку выбора лягущих костями за торжество их верховенства в человеческом сознании. Досталось оно автору благодаря подлинному гуманитарно-гербовому происхождению, чем он по глупости и недомыслию вовсе даже и не гордился, а полный наоборот сильно критиковал и самодеятельно-философ-

ствующе-болвански чуть не отрекался от подаренной судьбой благословенной участи, с плачевным энтузиазмом мечтая о скорейшей гибели, рьяно подпиливая единственный надежный сук. Оправданий в этом, на грани предательства, возрастном слабоумии нет, да и губительный распил необратимо бездонно-пучинен и бездушный его виновник, как грешник на пожизненное замаливание грехов, обречен на вечно-сизифовое заделывание глубины заблуждения, под дамкловым мечом постоянного обрушения в бурлящий сернокислотными пузырями буйный хаос нравственной бессистемности. Оправданий нет, золотой мой читатель, но есть, мой ты бриллиантовый, слабое мне утешение объяснения. Максимализм там юности, ищущий поэтики в молодежно-фашистских иллюзиях. Возбуждающе-опасный романтизм необычности образа активно-агрессивно-деклассированной жизни и ее представителей. Ну, и еще всякие мелкие, почти всем свойственные, возрастные картинно-печоринские болезни полных разочарований и безнадежных сплинов. Жалкий, однако, лепет, но есть еще одно объяснение, могущее вызвать тень снисхождения высокого самосуда. Давно не произносимое и видимо исчезнувшее из родной речи, тафтологическое, по строгому рассуждению, словосочетание «настоящий интеллигент», несло все-таки в себе верную частичку недоделанного смысла. Ясен перец, яхонтовый мой, что ненастоящий собственно автоматоматически не интеллигент, но еще, по историческим меркам, недавно наши люди были антично-простодушны, как вольтеровский гурон в начале познания «лучшего из миров» и, записав себя в стремящиеся, не стеснялись открыто восхищаться нечасто встречаемыми особями с цельным набором общепризнанных качеств, превосходящими их достоинствами, определенными аксиомно-неоспоряемыми представлениями непуганых идеалистов как подлинно интеллигентские. Ах, чего там разбираться в мамонтово-исчезнувших нелепостях и допустимо-искренних заблуждениях прошлого с точки воззрения противоположного теперешнего общества. Тафтологическое словосочетание свинцово кануло было в Лету под неуправляемым напором диких и свирепых полчищ воли болезненно-стремительной, угнетающе-материалистской всерационализации. Однако, как это часто бывает в уродливом наборе хаосов революционно-неизвестно-что-превращений, безвозвратно погибла только настояще-подлинная половина глупого маслянистого термина, вторая же, определявшая эксклюзивно-отечественную сословную принадлежность, расколотая на, может, несобираемые фрагменты стихийными многолетними увеселениями черни, цинично измороженная насмешками знаменитых оборотней и традиционно ни в грош не ставимая ни раньше, ни теперь ни в каких государствах, половина по логике противовеса в момент гибели комплиментарного прилагательного, пусть калекою, но высоко взметнулась в грязных клочьях бурой от чудовищной дозы ужаса неизлечимо-невротической пены новых ценностей. Тому уж сровнялось как минимум два десятилетия и на расстоянии отчетливо рассматриваются вешки разрушений, а тогда только инстинкт мог оттолкнуть от абсцессно-воспалительных процессов самозванной фальшивки, оборотисто присвоившей себе в мутный час и чужое имя и его славу.

С тех пор в «интеллигенцию» вступает без заслуг и присяги, образования и понятий, экзаменов и допусков всякий, нескромно вздумавший так обозваться, и виртуальные списки современного наполнителя термина смело-аналогично приравняются нами с полным сохранением объемного пакета умственных льгот к эфирному базеновскому списку, расшифровывающему одноклеточно-извилисто-яйцевую лжемноголикость потребителя кинопродукции. Только наш список мрачно усугубляется незавидными, уже описанными выше, отечественными ехай-особенностями и общей современному миру неудержимо падающей планкой моральных ориентиров, и настойчивым выведением откровенных болезненных аномалий на освещенные подмостки всеобщественного сочувствия, и признанием насекомной свободы права воли полуличности на публичную распущенность, и анархистско-безответственным отказом от предупредительного клейма медицински-обоснованного диагноза здравомысляще-ограничивающего в краеугольных правах ко всеобщему распространению пре-



ступно-умышленные разлагающие деятельности неограниченно собой экспериментирующих особей, вредоносные для профилактики здорового сознания избирателей-налогоплательщиков.

И все кому не лень теперь интеллигенция и у основной массы, невдающихся в баловство понимания тонкостей, средне-классовых, кулацко-средняцких, пролетарско-мастеровитых (далее по списку Андре Базена) прослоек, издавна недоверявших больно вежливым четырехглазым бледно-хлюпикам за многословно-туманные речи, чудаковские бессребренические манеры и мутную гражданскую позицию, эти лжесобратья священного ордена вызывают правомерно-ужасные впечатления, дубиной шарахающие по незакаленному мозжечку станового хребта нации, пусть и не таскающего ненужных ему звезд с неба, зато примитивно-неотменимо помнящего небольшое, да не худо знаемое и вовремя сполняемое число требуемых Родиной в лице ближайшего начальства обязанностей. Права ему за верность само собой соответственно положены. Мы не вдаемся в подробности, потому что не правозаступники, не описатели народного быта, да и уверены, что народ о своих правах не забудет теперь и сам похлопочет и позаботится. Всех же нас, малочисленных остальных, заботить должна государственно-важная мысль, стратегически-верный план и подробно-тактические мероприятия по комплексному сбережению драгоценной породы с неизменно-размеренной методичной работоспособностью и спасительно-последовательным упрямством срединно-выносящую из войн, бед и сложностей во все века всю страну или, на худой случай, добросовестно-верно ее останки для фундамента возрождения.

А мы, алмазные мои, бессовестно манкируем даже своими столь же святыми, сколь и простыми обязанностями по сбережению коровьего народного спокойствия и душевного равновесия, запуская, например, к нему в дома и сознание через телевизор, интернет, газеты и книжки таких... тьфу! Не повернется язык выговорить и перо вычертить грязные, как нецензурная брань, гадкие названия порочных проявлений. И, таким образом, и другими, случающимися от лени, идеализма и фатализма казусами преступно сбиваем спасителю-богоносцу не нами ставленный верный прицел небогатого, но крепкого, как медный котел, сознания проверенно-пристрелянного к работам главно-жизне-держашего цикла национального муравейника, необъяснимый феноменами интеллекта, однако, инстинктивно-ярко чуемый его носителем в спасительной увесистости ограниченности пакета запросов. Нам, коллеги, такие ограничения и работы не по плечу и не по здоровью и силушке, коими нередко превосходим измотанного народного собрата, благодаря разнообразным, невинным перегрузками, физкультурным возможностям и отсутствию тяжелого физического труда, разрушающего телесное и нервное здоровье, а если не физического, то не менее изнурительного одуряюще-однообразной многочасовой монотонностью. Да, утонченные мои, названные братья-сословники, мы, как истеричные (по трактовке героев) японцы в рассказе Куприна «Банзай!» тьфу, то есть «Штабс-капитан Рыбников» способны лишь на разовые всплески-выплески энергии, *raptus*, что ли там по-латыни упоминается припадок, когда слабая женщина становится способной раскидать четырех здоровых мужчин, но неистовый прилив сил иссякает за краткий миг и сменяется многодневно-длительным полным бессилием. Вот так, мой, страдающий от избытка образования и времени на абстрактные опыты, брат, мы бы с тобой бесславно-бесполезно и быстро сдохли от каторжной обреченности, не выдержав унижения духа рабством рабочей привязанности или депрессивно-надолго тяжело и негарантированно-излечимо заболели б наверняка букетом отвратных и мерзко-длительных болезней. Беречь его надо, брат-коллега, беречь лапотника! Всего-то от нас с тобой (ну и вас, если есть примкнувшие) и требуется важность не ронять с ухоженного рыла в общественных местах непроницаемой значительности, туманно-загадочно поддерживать загадку своей и коллег веской надобности и блюсти-сберегать богоносца нетребовательного. На пушечный выстрел не подпускать к нему какого-нибудь сектантского толстовца-агитатора или заграничного, к примеру, лектора по фермерскому менеджменту, а то и

технике заводской безопасности. Ну, да это ладно, распропагандируем при случае, если и привелся ему досуг кое-какие фрагменты запомнить, а вот ежели он будет видеть inferнальные непотребства-ужасы в официальной оболочке телевизионной и прочей медийной допущенности честное сознание его непредсказуемо скособоится в опасно-невсчитываемую сторону, начнут в нем бесконтрольно лопаться домостроевские незыблемые сосудики и посыпятся веерами доминошных костяшек такие процессы на наши головы и... ой! Что это я за упокой запел? Не гневите, коллеги, Бога и Его носца, не рискуйте проверками прочности его терпения, выполняйте-ка регулярно малые наши обязанности по неуклонному соблюдению в открытых проявлениях общественной жизни действующе-рабочей сохранности основополагающе-несущих нравственно-моральных устоев-конструкций, на которых и стоит общий дом нации. Тем более за исполнение этих нетрудных, тебя же украшающих, и в целом приятных почетных обязанностей, права твои, коллега, непропорционально-льготно увеличены – и тебя, с твоей хрупкой душевной организацией, бережет общее устройство, давая возможность трудиться по желанию и вдохновению. Не нами таково устроено и не нам его отменять или капитально переделывать, а только присматривать чтобы не нарушались главные традиции незыблемых определений проложенных предками границ добра и зла, правды и неправды, нужного и ненужного.

Наше только и дело не путать свое личное с общественным, то есть не обольщаться изошренностью кабинетно-экспериментирующей мысли, не искушаться осуществлением теорий бумажных открытий и уж точно избегать их введения в общее употребление. В общем употреблении уже есть, проверенные веками, пусть простые и незатейливые, зато выразительные, надежные и понятные в несомненной для всех правоте определения!

Уф! Вот так увлекся автор праведным пафосом важности шкурного своего спасения и проектами по обеспечению корпоративной безопасности! Ай да автор у нас! Только сейчас и вспомнил, что шумно выражал, порицаемым им же термином «респект» одобрение Андре Базену, давно всеми забытому французскому ученому киноведческих наук, да и чтобы не обольщались тамошние ученые процитируем-ка тут слова нашего писателя Серафимовича, сказанные о кино явно задолго до того додумавшегося галла: «...загляните в зрительную залу. Вас поразит состав публики. Здесь все – студенты и жандармы, писатели и проститутки, интеллигенты в очках, с бородкой, рабочие, приказчики, торговцы, дамы света, модистки, чиновники – словом, все...»

Автор всего-то и хотел сообщить, что недавно, от пыточного безделья, беспредельной скуки и отсутствия под рукой других книг, взялся за трудоемко-тягомотное чтение никогда ранее не раскрываемого Юлиана Семенова, и, продираясь сквозь бессмыслицы многозначительных словесных построений отца-матери известного кино-литературного советского шпиона-разведчика Штирлица и немецкого провокатора Клауса, наткнулся на этот «респект», удивился и мысленно извинился перед небрежно-неуважительно упомянутыми им прослойками слоев. Отслеживать дальнейшие или предыдущие приключения рожденного в Англии (ой, а уж не в Германии ли?) «респекта» автор не стал. *Das ist ihm einerlei*. Ему все равно. Не лингвист он! И не ученый наук! Наш автор – фонетик без обязательств, формалист-недоучка, структуралист-одиночка, вольнолюбивый кабинетный злыдень, мученик вялотекущего безделья и еще чего-то там тому подобного, не требующего обязательно-объяснительной ответственности, и, в целом, мечтатель о личном сверхнаправлении в прозе, к которому ленится даже обдумывать определяюще-отличающие форматы и рамки. Только и сообразил пока еле-еле рабочее название к своему воображаемому направлению, должному по рвано-запомнившимся грёзным отрывкам расплывчатых полуснов недосыгаемо превзойти не то что всякую прозу, а все в целом художественное искусство. Мания что ли? Те суть-пласты прослоек, коим ошибочно получилось приписано изобретение «респекта», говорят в таких случаях, скорчив современно-умные искусственно-проженные рыло-щщи: жесь! Говорили, то есть. Я их давно никого не видел и ни разу не заскучал за все это время. ( Жесь может быть от слова жестокость?) Жесь – это

типа ужас неподдельный эдакий дрянной и отвратный, если я ничего не путаю. Жесть, как она есть, – еще вспомнилась рифмованная бойкость. Вяло течет мысль, ощупывая бесформенные выступы. «Жестяной барабан» есть такой известный суть не классический фильм какого-то то ли Херцога, то ли Хёрцога, по роману бывшего эсесовца, позднее в том раскаявшегося и получившего за то Нобелевскую премию, про некую аномальную патологию душевно, кажись, нездорового немецкого мальчика-барабанщика во времена последних победных боев Красной Армии с издыхающей фашистской Германией. Видел я его лет двадцать назад, и запомнилась только пасторски-постная манера показа лютых зверств-измываний до зубов вооруженных орд восточных варваров над безоружно-беззащитной европейской цивилизацией. Издевательства над хранителями древних секретов культуры и военный разгром родины трактовались этим Хе или Хёром как вселенская, страшная необратимая экологическая катастрофа, предвестница гибели всей белой цивилизации, если, конечно, я со зла опять чего-нибудь не путаю. Может быть, как-нибудь все это было виртуозно увязано с патологией югенд-барабанщика? Что-то мне сейчас припоминается, что к фашистскому государственному устройству и его подавляющему влиянию на бело-национальную личность объективный Хё тоже вроде бы подыскал критические краски? Нет, не вспомнить никаких патологических подробностей, уверен только, что никогда не захочу пересматривать киноопус торкнутого фатально-тотальным поражением фрица. Жесть, короче, как она есть!

Наш советский писатель Аркадий Гайдар еще в тридцать восьмом году (издали в тридцать девятом) написал светлую, просторную, наполненную тугими ветрами и горькими замечаниями подлинного драматизма, несломленную волею автора и героев удержанного на краю пропасти безысходной трагедии, повесть «Судьба барабанщика». Такую книгу будешь перечитывать, она украшает своего читателя богатством событий и щедрым разнообразием упоенно-тщательно выписанных образов, безупречно-приключенческим сюжетом и изощренным сплетением в естественно-единый узел множества разновозрастных и разнонаправленных трудноразрешимостей для полноценного достижения высоких целей писателя. И стиль! Стиль ровно-сильного, как волны мощного моря, покоряюще-выразительного стихотворной мелодичностью письма, аранжированного по всему полотну текста узорчато-резной оснасткой постоянных, глубоких и тонких подробностей в описаниях мест и интерьеров действия и внутреннего мира героев. Таков Гайдар!

А тут какие-то респект и жесть. Помнится, я все невольно перебирал, как чужие некрасивые ракушки, бессмысленность привязавшихся свистящих звуков, пока не натолкнулся на освободившую меня мысль об уже заложенной в их сочетании обширной телесериальной фабуле, имеющей все шансы не уступить размерами и удельным весом натасканных откуда попало событий хоть самой «Войне и миру».

Простите, Ваше сиятельство, что опять ненароком задел Вас, хотя объективно, граф, это лишь очередное подтверждение Вашего величия и чем больше дилетантов и дебютантов будет самонадеянно замахиваться на Вашу чудо-царь-книгу-книг, тем явственнее будет высвечиваться ее навечно-недосягаемая вершинность.

Ушел? Не знаю. Его не разберешь. Босой, бородатый, недобрый, обоюдный, великий, ничтожный, гордый и завистливый. Привязался двусмысленный как «Респект и жесть». Интересно, кто кому не дает покоя? Я ему или он мне? Никогда не страдая скромностью в самооценке, на этот раз, однако самокритично-объективно решаю, что однозначно он мне. Безупречный стиль, доведенный до совершенства абсолютной доделанности, энциклопедически-подробные знания света и его многочисленных, поголовно-штучных представителей, во всех бесконечно-бессчетных комбинациях тонкостей, большей частью закрытых для понимания неизживаемо-разночинным сознанием писателя позапрошлого, прошлого и нынешнего веков. Не дает покоя чудесная, подаренная происхождением, неограниченная временем и средствами возможность бесконечно переписывать громадные книги, добываясь эталонного каче-

ства текста, по определению недоступного большинству писателей, материально зависящих от печати и издательств. Все эти подарки феи не отменяют, однако, сугубо личных выдающихся качеств нарочито-босоногого маэстро-долгожителя: богатырски-немерянных силы и воли, незапущенного никогда во всю жизнь таланта – способность доступная лишь истинно великим не позволять ослабеть упругости регулярно тренируемой мышцы главного богатства широкоформатного, как карьер, и глубокого, как колодец, ума. Неуклонная последовательность в постоянном оформлении, обновлении, поддержании и расширении итак необъятно-обширной добросовестно-полно выработанной исключительно-собственной системы взглядов и мировоззрения. Что там еще? А то надоел, сбил с курса. Далее, конечно, родовой, всегда, как хозяин, в оптимальной форме, аристократический бойцовский дух, главный тягловый механизм в арсенале писателя, позволявший до удовлетворяющего мастера результата мифологически-чудовищные по тяжести, объему и не транспортируемой громоздкости замыслы. И напоследок уж – очаровательно-откровенная черта полной самоуверенности в личном величии гения, заслужившего сказочными литературными подвигами принципиально-одионое право противостоять имперскому государству и церкви, единственной жене и миру. Вызывает, спору нет, вызывает Сиятельная Анафема многия уважения, а то и восхищенное изумление, но не любит его автор и не читает. Не люблю не в смысле равнодушен, а в смысле программно. Заявлять подробности негативных взглядов на энциклопедически-старшего коллегу-сотоварища не позволяет цеховая этика. Для наглядности, к примеру, это вроде как подать заявление в милицию за дебош на дружественного соседа или хорошего знакомого. В общем-то, и на недружественного или нехорошего не стоит. Не по понятиям. Да и не дело писателя обсуждать публично другого с сомнительной целью отказа тому в праве на читателя и с позиций субъективно трактуемой ответственности одаренного перед доверяющей ему умы и сердца аудиторией. На том и порешим, но, однако, личный мой читатель обладает всеми правами на полное знание предпосылочных основ.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.